

Часть III

ПЕРВАЯ ВЕЛИКАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ВОЙНА И СМУТА В РОССИИ

Глава 6

В Красном Кресте на юго-западном фронте /1914–1917/

Летом 1914 года я жил на даче по Финляндской железной дороге в Куокалле. Ежедневно приходилось ездить на службу; было самое горячее для центральных учреждений рабочее время — проведение проектов смет через совещание с участием представителей финансовых ведомств. На мне лежало состояние общей объяснительной записки к смерти Отдела Земельных Улучшений, и в начале июля я, чтобы не терять времени на поездки в Петербург и обратно, занимался дома, взяв все необходимые материалы на дачу.

Война обрушилась на нас совершенно внезапно. Убийство австрийского эрц-герцога Фердинанда в Сараеве, ультиматум Сербии со стороны Австрии, глубоко всех возмутивший, мобилизация, в виде угрозы, нашей армии, наконец телеграмма о том, что Германия объявила войну России — все это следовало, как-то чрезвычайно быстро одно за другим; по крайней мере, в тиши Финляндской дачи мы, не питаясь никакими обычными столичными слухами и разговорами, вдруг поняли, что мирная работа и жизнь закончены. Как по мановению какого-то волшебного жезла изменилась вся обстановка нашего привычного существования. Мне надо было отправиться в Петербург для сдачи своей работы в типографию; я пошел в обычный час на вокзал; там скопление дачников, какого раньше никогда не бывало; поезд, перегруженный так, что пассажиры сидели на ступеньках вагонов, даже не остановился на станции, полетел мимо. Пришлось ждать следующего поезда; весь день я провел на станции; поездов прошло много, но они или не останавливались совсем, или были так переполнены, что войти в них нельзя было. Вечером, в открытие окна нашей дачи долетали откуда-то крики «ура»; говорили, что это манифестация в честь сербского посланника Спалайковича, поживавшего в Куокалле. Днем приходили знакомые чиновники, так же, как и я отрезанные от своих учреждений. В разговорах чувствовалось сознание громадности надвигающихся событий; говорили только о предстоящей войне; выход ее ставился в зависимость от того присоединится ли к нам Англия или нет; некоторые давали обе-

щание изучить английский язык, если Англия будет воевать, спрашивали у меня, как по-английски то или иное слово. Обычные наши прогулки по взморью стали казаться какими-то мрачными и опасными: паникеры распространяли слухи о возможности быстрого неприятельского десанта; им не верили, но прожектора Кронштадта все время по ночам нащупывали наш берег; яркий луч света останавливался вдруг на несколько минут на нас, как будто кто-то старался нас рассмотреть, и становилось почему-то жутко на сразу обезлюдевшем берегу залива, еще недавно по вечерам собиравшем толпы гуляющих дачников. Вероятно, нервы с первого же дня войны уже были сильно натянуты. После безуспешных попыток в течение трех дней попасть в поезд и в виду решения нашего вообще уехать из Финляндии, мы решили добраться до Сестрорецка на лошадях. Говорили, что будто бы мины относятся к нам уже враждебно, могут начать отказывать в лошадях, почему надо торопиться. Путешествие из Куокалле на лошадях, на загруженных различными вещами повозках, растерянные лица нашей прислуги, ряд других обозов, увозивших еще недавно совсем мирных дачников — все это подчеркивало в нашем сознании значение происходящего, как чего-то важного не только в государственном отношении, но и для нашей обывательской личной жизни. Создавался конец, на тот или иной срок, привычной обстановки; когда не было ни у кого, вероятно, сознания, что это не на время, а навсегда.

В Петербург мы приехали ночью; хотелось очень есть; вещи мы отправили домой с прислугой, а сами, я и жена, прямо пошли ужинать к Контану; мы были в такой грязи и пыли, что еще три дня тому назад нам и в голову не могло прийти отправиться в фешенебельный ресторан в таком виде; теперь была война и рушились старые привычки; швейцар несколько не удивился, так как таких как мы, очевидно, перебивало в ресторане уже много. Мы ужинали в кабинете с окнами в общий зал; в последнем было уже не то, что было обычно ранее; группа подвыпивших офицеров разгуливала по длинной зале ресторана, а не сидела за столиками; кто-то приставал к румыну-капельмейстеру, за Германию он или нет, и угрожал убить его, если Румыния не выступит на нашей стороне. Уходя от «Контана», мне и в голову не приходило, что в этом любимейшем моем ресторане, где столько в моей жизни было хороших дружеских встреч и бесед, я больше никогда в своей жизни не буду; я чувствовал только, что сейчас, в данный момент, в настоящей его обстановке, это было какой-то уже не хорошо знакомое мне, а совершенно чужое учреждение. Когда мы вышли из ресторана на Мариинскую площадь, там толпился народ, кричал «ура»; мы посмотрели по направлению общих любопытных взглядов толпы, мы увидели, что конные статуи на мрачном здании Германского Посольства освещены; в лучах света были видны фигуры людей, копошившихся возле статуй; их связывали веревками, чтобы опустить на панель; когда это удалось, статуи были потоплены в Мойке, под дикие крики толпы. Я читал в первоапрельском номере какой-то газеты помещенную, в виде шутки, заметку о том, что В.М. Пуришкевич и к-о [компания], злясь на дом германского посольства, кстати сказать, действительно, не гармонизировавший с красивейшей

по ее окрестности площадью Мариинского Дворца /Государственного Совета/ и Министерства Земледелия, похитили ночью конные статуи с немецкой постройки; к заметке была, кажется, для большей ее убедительности, приложена даже фотография дома без статуй. Почти все мои знакомые догадались, что это известие — шутка на 1-ое апреля. То, что казалось смешной шуткой в апреле, приходилось видеть собственными глазами в июле; была война, когда всякая нелепая шутка претворилась в действительность. На улице Гоголя мы прошли мимо приюта нашего литературно-артистического мира — знаменитого богемного ресторана «Вена», излюбленного некоторыми моими друзьями; с него была сорвана вывеска и он был закрыт. Вблизи мы заметили разбитые витрины кондитерской «*Berlin*», название которой толпа приняла за Берлин. Далее по Невскому темно было и в уютном итальянском ресторане «Альберт», и в популярном немецком ресторане «Лейнер». Над всеми улицами стоял неумолкавший гул толпы, уже разнузданной, несдерживаемой полицией, охмелевшей от ожидаемого пролития крови. Встречались громадные процессии с национальными знаменами, с портретами Царя, певшие гимн.

Был несомненный подъем патриотического чувства, было несомненное единение народа с Царем, как с его высшим на земле (Л. 295) представителем, был искренний порыв и желание победы над врагом, но уже таково мое органическое отвращение ко всякой толпе, к участию улицы в государственных делах, что на душе у меня от этой первой ночи в приведенной на военной положение столице оставался какой-то осадок.

Я ненавижу войну, как проявление самых грубых, звериных инстинктов человека, как позорное несчастье — болезнь человечества, но, конечно, считаясь с неизбежностью этого зла, я должен был, как и масса русского народа, всеми фибрами своей души желать гибели немцев. Это чувство заставляло меня стараться закрыть глаза на грубость уличных сцен, на то дикое искажение мирного строя жизни, которое обнаружилось с первого дня, даже часа войны, и которое внешне на улице напоминало мне самое отвратительное из всего виденного мною до этого времени в моей жизни: революционные шествия толпы в 1905 году.

В первой великой европейской войне была одна подробность, которая, мне кажется, в отличие от многих других наших войн: с турками, японцами, интернациональной армией Наполеона и т. п., делало эту войну для сознательной части русского населения особенно патриотичной: в ряду наших врагов находилась Австрия. В России можно было встретить германофилов, турко- и японофилов, франкофилов и т. д., каких угодно филов, но только не австрофилов. Настоящий русский человек — австрофил не мог иметься в природе, так как для того, чтобы быть сторонником Австрии необходимо было не быть русским. Эта Империя, гнойник на теле Европы, существовала только милостью и попустительством великих держав, боявшихся распрей между немецко-славянскими народностями средней Европы и Балканского полуострова. Так как для целей Австрийской Империи наиболее опасным конкурентом была всегда великая Россия, то не было такой клеветы, грязи и мерзости, которая систематически не распростра-

нялась бы о России распоряжением и по инициативе австрийского правительства. Многие десятки лет разнообразное население Австро-Венгрии и ее соседей питалось вымыслами о варварстве и бездарности русских; высокие качества богоносной души русского человека, которые вообще трудно понимаются мещанами многих европейских стран, кичащихся своей чисто поверхностной культурой, необыкновенная (Л. 296) русская одаренность во всех областях художественного слова и звука, наши писатели, музыканты, артисты, философы, наконец, даже наши административно-колониационные успехи все это проходило мимо поля зрения большинства несчастных подданных этой «по недоразумению», империи. Жизнь России преподносилась им в бульварной прессе, кинематографах, разных пародиях, следы которых мы, к сожалению, наблюдаем еще теперь воочию в странах-наследницах земель Австрии, в таком виде, в таком сходстве, какое имеется между «Фаустом» Гуно и опереткой под названием «Фауст наизнанку», либо еще ближе будет к истине, если сопоставить творения великого Гомера с опереткой Оффенбаха «Прекрасная Елена». Эта антикультурная, вредная для человечества гнусность усугублялась постоянным натравливанием на Россию галичан, а через них слепых в своем жалком, нелепом шовинизме и мелком честолюбии наших украинцев-малороссов. Кроме того, многие уже в начале войны знали, какие средневековые, истинно-большевистские приемы применялись австрийскими властями к арестованным политическим врагам: ломание пальцев, вбивание гвоздей под ногти и т. п., не говоря уже о массовых расстрелах, — приемы весьма далеких исторических времен варварской России; следы их мы опять-таки воочию можем видеть теперь, в освобожденных от австрийского ига странах, на поврежденных членах многих прежних «счастливых» подданных этой современной «татарщины». Культура в Австрии была при этом чисто показная, не глубокая и не широкая; чистые и нарядные улицы Вены не могли заменить санитарных и хозяйственных мер, например, для богатейшего Далматинского побережья, которое при всех его богатствах, является лишь жалкой пародией на устроенное русским правительством и русскими людьми Черноморское побережье, с его мандаринными рощами, богатейшими вообще фруктовыми садами, виноградниками и вином.

Короче говоря, возможность сокрушения такого позорного для современной культуры явления, как Австрийская Империя, со всех точек зрения, а в особенности с нашей национальной, оправдывало бы всяческие жертвы с нашей стороны на участие в великой войне.

Вот почему и я, как глубокий националист, несмотря на всю трудность для меня помириться, в силу давних моих политических и иных склонностей, о которых здесь не стоит говорить, с мыслью, что Россия и Германия, а за нею вновь и Турция, волей провидения враждуют, все-таки был полон патриотического подъема, перед которым отступали на второстепенный план прочие мои впечатления и ощущения.

В первый же день моего пребывания в Петербурге я был вызван к телефону Б.Е. Иваницким, который был уже тогда не только сенатором, но и членом Государственного Совета, передав должность товарища главноу-

правляющего Землеустройством популярному общественному и государственному деятелю гр. П.Н. Игнатьеву, вскоре назначенному на пост министра народного просвещения. Иваницкий мне сообщил, что Главное Управление Российского Общества Красного Креста избрало его на должность главноуполномоченного Общества на юго-западном фронте театра военных действий и что он предлагает мне место начальника его канцелярии. На мой ответ, что мне надо подумать, так как я связан незавершенной работой по своему ведомству и должен озаботиться также о устройстве жены, И. немедленно вспылал и стал упрекать меня в недостатке патриотизма, в постыдности колебаний, когда все сейчас должны работать только на войну. После этого разговора я, конечно, согласился принять предлагаемое назначение, и на другой день было получено согласие на мою командировку со стороны А.В. Кривошеина, которая, по мнению Б.Е. Иваницкого, не должна была продолжаться более трех месяцев. Эта мера в «три месяца», убеждение, что Европа не может выдержать войны в течение более продолжительного срока, была в начале войны чрезвычайно распространена. Моя жена — та еще более сократила предельный срок войны: «отчего не поехать в Киев недели на три», ответила она на мой вопрос, стоит ли идти на краснокрестную работу.

На другой день после разговора с Иваницким, я уже участвовал в совещаниях Главного Управления Красного Креста, обсуждавших различные предварительные меры по организации фронтовых и армейских управлений Красного Креста и кандидатуры на различные должности. В поведении Главного Управления на Инженерной улице царило приподнятое оживление; коридоры и залы Главного Управления были полны толпой лиц, желавших предложить свои услуги Красному Кресту; передо мною промелькнула знакомая и дорогая мне, по другим воспоминаниям и настроениям, стройная фигура Н.Н. Фигнера; знаменитый, но уже оставивший (Л. 298) сцену баритон Л.Г. Яковлев тоже пошел в Красный Крест, в качестве начальника автомобильного отряда. Состав требовался большой, но выбор лиц надо было производить с чрезвычайной осторожностью. Иваницкий и я приглашали сотрудничать с нами в начале войны только лиц нам лично известных; преимущественно из состава ведомства землеустройства; таким путем закладывалась прочная, спаянная взаимным доверием административная ячейка нашего управления. Что касается собственно медико-санитарного персонала, то заблаговременно и тщательно разработанный Главным Управлением мобилизационный план обеспечивал срочную явку в его распоряжение достаточного для первого периода войны кадра опытных врачей, преимущественно хирургов, сестер милосердия, общинных, или так называемых военного времени, прослушавших ускоренные курсы при общинах, и санитаров, подготовлявшихся к делу на особых сборных пунктах.

Военные Управления Красного Креста были организованы так: на каждом отдельном фронте, т. е. на северном, западном, юго-западном, из которого впоследствии был выделен южный /румынский/ и кавказском находился Главноуполномоченный, входивший, согласно Высочайше утвержденному перед самой войной, положению о полевом управлении

войск в состав управлений Главного командующего и подчинявшийся непосредственно главному начальнику снабжений данного фронта. Кроме того для внутреннего района Империи, т. е. для всего, так сказать, тыла, неподведомственного главному командованию, имелся главноуполномоченный, Управление коего находилось в Москве, и при Ставке Верховного Главного командующего состоял особый представитель. На места главноуполномоченных были избраны: для северного фронта А.Д. Зиновьев; западного генерал Дашков, замененный вскоре начальником кабинета Его Величества генералом Волковым, а затем в 1916 году А.В. Кривошеиным; юго-западного, как я уже говорил, Иваницкий; румынского Хомяков, бывший председатель Государственной Думы и Кавказского Л.В. Голубев, крупный черноморский землевладелец и винодел; внутренним районом краснокрестной помощи ведал б. председатель московской губернской земской управы А.Д. Самарин, а представителем при верховной ставке состоял б. министр народного просвещения П.М. Кауфман-Туркестанский. При каждой армии имелся особый уполномоченный, носивший сложное наименование: «особоуполномоченный»; при некоторых отдельных частях или в отдельных районах фронта имелись уполномоченные: корпусные, губернские, уездные и т. п. Некоторые отряды особого назначения или сформированные на специальные средства, например, Государственной Думы, Дворянства, общества нефтепромышленников и проч. имели уполномоченных, избранных жертвователями и лишь утвержденных Главным Управлением. Во главе всякого рода лечебных заведений, как передовых, так и тыловых, стояли врачи, главным образом хирурги; прежде практиковалось назначение начальниками таких учреждений лиц из административного состава, но происшедшие между ними и врачами трения, а также отсутствие у последних необходимой для пользы лечебного дела самостоятельности, побудило в последнюю войну изменить этот порядок; однако, не все врачи были довольны предоставлением им административных функций, так как масса сопряженной с ними канцелярской и денежно-хозяйственной работы отнимала у врача много времени, в ущерб его прямой специальности, если только он не полагался всецело в канцелярско-хозяйственном отношении на заведывающего хозяйством.

В Петербурге, по соглашению с главноуполномоченными, был приглашен Главным Управлением только высший состав местных военных управлений Красного Креста, т. е. помощники главноуполномоченного, начальники отдельных частей его управления и особоуполномоченные при армиях: весь прочий состав приглашался уже самими главноуполномоченными, преимущественно на местах работы.

Что касается санитарно-медицинских учреждений, госпиталей, этапных и подвижных лазаретов, передовых перевязочно-питательных отрядов, то таковые формировались по заранее до войны составленному мобилизационному плану многочисленными общинами Красного Креста, не исключая и самых отдаленных, Благовещенской, Иркутской, Харбинской и т. п. Дополнительное материальное снабжение эти учреждения получали из громадных центральных складов Красного Креста в Москве или

Петербурге, питавших также и фронтные склады, которым, однако, когда война затянулась, пришлось производить и самим на местах крупные заготовительные операции.

На места начальников частей нашего юго-западного управления Красного Креста были приглашены, главным образом, опытные, известные своей работоспособностью и честностью чиновники; так, сложная и живая хозяйственная часть была поручена ведению районного переселенческого чиновника С.В. Резниченко, Управление складами В.Д. Евреинову, управлявшему несколько лет делами комитета по трудовой помощи населению; счетной частью ведал чиновник, заведывавший этой частью в центральном переселенческом ведомстве. Во главе медицинской части был оставлен, конечно, специалист — известный московский хирург профессор И.П. Алексинский. Должности помощников главноуполномоченного, а также слабоуполномоченных были замещены различными видными общественными деятелями; среди них выделялся Н.А. Хомяков, человек тонкого ума и громадного житейского опыта; он, впрочем, сравнительно недолго был на нашем фронте и получил, как я говорил, назначение на пост главноуполномоченного южного фронта. Остальные помощники главноуполномоченного, отвлекаясь другими различными общественными, а частью и личными делами, сравнительно мало были полезны В.Е. Иваницкому, и фактически его ближайшим административным помощником являлся я, в каковом звании я вскоре и был утвержден Главным Управлением; прочие начальники частей нашего управления, в сущности, являясь каждый по своей отрасли дела непосредственными помощниками главноуполномоченного, пользовались большой относительно свободой и инициативой в работе и подчинялись мне лишь, так сказать, в формальном отношении на время частых разъездов Иваницкого по армейским районам.

Таким образом, в составе собственно нашего центрального управления, я находился в прежней, хорошо знакомой мне, среде «старорежимного» чиновничества, если не считать некоторых специалистов-врачей; вне же этой среды, в составе местных губернских и прочих деятелей, мне приходилось иметь дело с массой местного выборного элемента: предводителями дворянства, председателями и членами земских управ, членами Государственной Думы, просто помещиками юго-западного края, духовенством и т. д. Но, повторяю, руководящий и вдохновляющий дело орган был по главному составу своему «чиновничий». Поэтому, с точки зрения поставленной мною в моих записках скромной задачи дать характеристику нашему старорежимному чиновничьему классу во всех проявлениях его работоспособности, будет любопытно проследить кратко, как проявлялась и какие результаты давала эта новая, лично для меня, чиновно-общественная деятельность в течение нескольких лет.

Я выехал в Киев с очень небольшим составом сотрудников в двадцатых числах июля, не выжидая окончания совещаний в Главном Управлении, в которых принимал участие В.Е. Иваницкий. Ехать пришлось уже в страшной давке, духоте и грязи; война сразу изменила комфортабельную привычную обстановку наших поездов; путешествие мое из Петербурга в

Киев продолжалось уже не сутки, как до войны, а трое суток; мы пропускали воинские поезда.

Под наше Управление местный богач М.И. Терещенко, впоследствии член Временного Правительства, предоставил бесплатно три дома на Бибиковском бульваре рядом с Александровской гимназией; я был счастлив, что попал снова в знакомую родную обстановку родного города, но наслаждался этим счастьем, конечно, мало; только ранним утром, идя по бульвару на службу, я радовался, что вижу давно знакомые и любимые здания, тополевую аллею, каштаны вдоль улицы.

Слишком трудными казались мне первые шаги на новом моем поприще. Через Киев проезжали уже начальники различных отрядов; я снабжал их деньгами; расписки их хранил в карманах; записывал выдачи на обрывке бумаги; приводили вдруг партии лошадей, надо было срочно раздобыть фураж, а хозяйства я никогда не любил и не понимал. Вдруг, как снег на голову, появились первые раненные; думалось тогда, что настоящая война еще не скоро; мне сообщили по телефону, что на вокзале 25 раненых, спрашивали на чем и куда их везти; справляюсь по телефону в военном госпитале, отвечают, что имеется только одна линейка, да и та сломалась. Эти первые два десятка раненых произвели такое впечатление и поставили в такой тупик, как будто бы их было десятки тысяч — что впоследствии, через несколько месяцев, никого из нас уже не удивляло и не приводило в растерянное состояние. Однажды, в нашем управлении появился военнопленный; пришел сам с вокзала; что надо с ним делать, куда направить, я не знал; приютил его просто по человечеству и оставил ночевать в канцелярии. Иваницкий, приехавший в этот день из Петербурга, накричал на меня, что я могу за это отвечать по закону, но и сам он тогда, и военные власти Киева еще не знали, где сборный пункт для военнопленных. Одним словом, в первые дни войны был какой-то перевозданный хаос. А между тем, среди массы, иногда совершенно мелких организационных забот, надо было, хотя бы поверхностно, познакомиться с правовым положением нашего Управления; я ничего в этой области не знал. Как я упоминал уже, положение о полевом управлении войск было введено в действие только несколько дней тому назад; печатные экземпляры его считались редкостью; мой единственный экземпляр нужен был и другим служащим; читать его, равно, как и различные краснокрестные инструкции, приходилось урывками. Меня, как правоверного юриста, не могла даже война выбить из сознания, что наша работа не пойдет в разрез с общим планом главного командования только при условии строгого знания нами пределов наших прав и обязанностей. Случай с первым военнопленным лучше всего характеризовал положение. Иваницкий понимал неправомерность моего поступка, но разобраться в деле тоже не мог, по незнанию его юридической стороны. Весь захваченный военными событиями, думая и говоря только о том, что относилось к войне, ни на кого не полагаясь, кроме, как на самого себя, он чрезвычайно нервничал, горячился, кричал, вникая буквально во всякую мелочь, включительно до гайки на каком-нибудь автомобиле или подковы на лошади. Меня это крайне раздражало; я находил, что в переживаемое нами вре-

мя нужно, прежде всего, спокойствие и умение с доверием распределять функции между всеми сотрудниками, не вмешиваясь в мелочи их работы, так как иначе она становилась для исполнителя мало интересной. Справиться, однако, с темпераментом нашего начальника не было возможности, и у меня с ним, к изумлению прочих сослуживцев, установились с первых же дней боевые отношения, причем я нередко бывал, действительно, слишком резок и груб. В итоге, как-то само собой распределились наши функции, и работа, в общем, пошла производительно-дружно. Иваницкий жил нуждами армейских учреждений, очень часто разъезжал по учреждениям, занимался с особой любовью хозяйственно-техническими операциями, в частности из автомобилей и конных транспортов сделал себе прямо какой-то фетиш, служа которому он беспощадно портил и себе, и другим нервы. Я сосредоточился на поддержании в порядке канцелярско-формальной стороны дела, на установлении самых широких связей и общения с общественными деятелями края, на пополнении личного состава различных отрядов путем тщательного отбора кандидатов на должности, на собирании и разработке отчетных материалов. В общем, Иваницкий был занят фронтом, я — тылом, и в таком распределении наших обязанностей, мне кажется, был залог успеха порученного нам дела.

Первые недели и на фронте отличались тою же растерянностью и беспорядочностью, какую мне пришлось наблюдать в Киеве. Поверхностному наблюдателю могло бы показаться, что мы совершенно не готовы к войне; так, по неопытности, казалось и мне. В действительности же, машина войны уже была заведена, она начинала работать, но еще не в том темпе, который требовался событиями. На громадном пространстве Российской Империи приводился в исполнение мобилизационный план каждый день на фронт прибывали новые части и новое снабжение, в том числе и санитарно-лечебное. План Красного Креста осуществлялся блестяще: наши лазареты с начала августа работали уже в Ровно и других западных городах в первые же дни боев и пошли в Львов тотчас же по занятии его.

В Киеве, где не было известно, как перевезти в госпиталь первую маленькую партию раненых, через неделю после этого уже ходили от вокзала специально оборудованные трамвайные вагоны. На самом вокзале начал работать прекрасный приемный покой и питательный пункт, оборудованные на средства управления юго-западных железных дорог. Открывался один за другим ряд городских лазаретов, под опекой энергичного головы города И.Н. Дьякова, а также ряд больших и маленьких лазаретов частных лиц или обществ; все они принимались под флаг Красного Креста, после подробного осмотра их чинами нашей медицинской части. Провинция (Л. 304) тоже всколыхнулась: желающих помочь раненым и больным воинам было сколько угодно; вопрос сводился только к удобству данного помещения или пункта в отношении эвакуационных путей. Так как вся частная и общественная помощь, по закону, должна была находиться в ведении Красного Креста, надо было, во избежание злоупотребления флагом Красного Креста и отвода под лазареты неподходящих помещений без надлежащих врачебных и материальных средств, иметь за этим делом

местное наблюдение. Производилось в срочном порядке приглашение многочисленных уездных и губернских уполномоченных. Район юго-западного фронта в начале войны был громаден: от Радомской губернии Польши до Крыма включительно. Легко себе представить какой многочисленный местный административный аппарат требовалось создать; сколько разнообразных лиц проходило перед моими глазами.

Приемная моя всегда была полна; не только местные уполномоченные, но и устроители отдельных лазаретов, питательных пунктов и т. п. имели надобность во мне для переговоров о различных текущих мелочах дела. Со всеми этими безвозмездными работниками Красного Креста и жертвователями надо было беседовать подробно и внимательно, чтобы усиливать приток добровольной помощи нашим воинам, памятуя в особенности о том, что для каждого гражданина его маленькое участие в этой помощи, как оно ни мало на фоне общей картины войны, представляется особо важным и ценным. Порою, в особенности, когда происходили серьезные бои, Иваницкий сердился на мои долгие собеседования с «жидами», как он в шуту называл всякого постороннего нашему Управлению человека. Но я упорно расширял круг наших знакомых и клиентов и могу сказать, отбрасывая ложную скромность, что сделал Управление Красного Креста юго-западного фронта чрезвычайно популярным среди населения Малороссии части Польши. Лазареты росли как грибы и вскоре настало время, когда не раненные искали места, а лазареты жаловались на отсутствие раненных. На этой почве происходили курьезные жалобы и домогательства. Например, в один пустовавший лазарет удалось, наконец, направить партию раненных в несколько десятков человек; я телеграфировал об этом уполномоченному, чтобы обрадовать устроителей лазарета; однако, по дороге раненые хохлы, попав в родные места, постепенно разбрелись по своим деревням или ближайшим к ним частным лазаретам, так что к концу пути поезд доставил всего двух-трех человек. Конечно, устроители лазарета были обижены, приходилось их успокаивать. Недовольство в таких случаях заведующих лазаретами было вполне естественно, так как многие расходы по лазаретам, например, содержание медицинского персонала, отопление здания и т. п., должны были производиться и при пустовании лазаретов, чем значительно повышалась средняя стоимость содержания большого, так называемого, больничного дня, и, следовательно, портилась в глазах жертвователей жертвенно-хозяйственная отчетность в полученных от них средствах. Но убеждать волнующихся благотворителей, а в особенности, крайне экспансивных дам, что порядок заполнения лечебных заведений зависит от хода боев на фронте и удобства для каждого данного момента тех или иных путей эвакуации было крайне затруднительно: требовался для этого большой запас терпения, чтобы сухими формальными объяснениями не сократить область частной инициативы в деле помощи нашим раненым воинам. Как я уже говорил, с большинством просителей и просительниц беседовал я, но некоторые особо назойливые из них, преимущественно дамы, надоедали иногда и главноуполномоченному, отрывая его от забот о фронте, и бывали случаи, когда какая-нибудь благо-

творительница, недовольная его приемом, вылетала из кабинета, на ходу гневно бросая «это безобразие; я иду в Петербург жаловаться самому Государю; вот тогда он /т. е. Иваницкий/ узнает». Из жалоб, конечно, ничего не выходило; «он» ничего не узнавал, т. к. Главное Управление относилось в Иваницкому с полным доверием, и дело велось им и сотрудниками совершенно беспристрастно, без всяких протекционных влияний.

Значение частно-общественной помощи в краснокрестной работе с особою яркостью сказалось в первые месяцы войны в деле организации питания раненых при эвакуации их из армейских районов в тыловые лечебные заведения. Военное ведомство не успело вовремя организовать питательных пунктов на путях эвакуации; оно в первую очередь естественно стремилось обеспечить продовольственными пунктами войска, шедшие на фронт, в боевую обстановку. Первые эшелонные раненные появились в тылу как-то неожиданно быстро, так как бои разворачивались на нашем фронте чрезвычайно стремительно, а самое появление наше в Львова настолько изумило общество, что многие отказывались этому верить; сами австрийцы, вероятно не ожидали такого успешного продвижения наших армий; об этом можно судить по той мирной обстановке, которую нашли наши в офицерских квартирах Львова; раскрытые карточные столы, небрежные с незаконченным обедом столовые; книги-романы, брошенные со свежеразрезанной страницей и т. п. Для Львова, очевидно, появление в нем наших войск была также неожиданно, как для Киева прибытие первых партий наших раненных.

И вот, при встрече этих партий сразу же бросался в глаза их необычайно истомленный вид; обнаружилось, что по несколько дней эвакуированные ничего почти не ели, иногда, кажется, до пяти дней. Встречались телеграфные запросы; выяснялись что пути эвакуации без питательных пунктов. Иваницкий был сильно взволнован, прямо потрясен этим известием, и немедленно телеграфировал во все уезды, примыкавшие к линиям железных дорог, просьбу к председателям земских управ и предводителям дворянства распорядиться, за счет Красного Креста, подвозом продовольствия к станциям следования санитарных поездов, «не стесняясь расходами». Такое героическое средство — «не стесняясь расходами» было, конечно, не по плечу военно-санитарного ведомства, связанного известными формами и строгой отчетностью, но в известной чрезвычайной обстановке при большой живости и способности к ответственной инициативе, могло бы быть принято и этим ведомством. Призыв Иваницкого нашел такой широкий отклик в местном обществе, что в первые месяцы Красному Кресту приходилось затрачивать гроши /сотни две, три тысячи рублей/ на довольствие эвакуируемых раненных; население, особенно крестьяне, узнав об организации краснокрестной питательной помощи начали в изобилии подвозить к станциям железных дорог хлеб, молоко, яйца и т. п., в подавляющем большинстве случаев, не требуя за них никакой платы. Буквально через несколько дней после телеграммы Иваницкого прекратились донесения о прибытии голодных раненных в Киев и другие тыловые при-

емники их. Успех этой операции и послужил главным толчком к тому, чтобы в каждом уезде иметь уполномоченного из местных деятелей.

Первоначальным мобилизационным планом Красного Креста не предусматривались специально питательные учреждения, но опыт первых же недель войны побудил нас развить и прочно поставить это дело, путем формирования постоянных питательных пунктов и подвижных отрядов; последние в числе, кажется, десяти, по инициативе Иваницкого, были сформированы заведующим хозяйственной частью из предоставленных нам классных и товарных вагонов. Расходы по формированию и содержанию первого такого отряда-поезда приняла на свой счет известная благотворительница покойная Е.М. Терещенко, принимавшая вообще самое горячее участие в работах Красного Креста и внесшая на содержание его учреждений несколько миллионов рублей. Эти поезда сослужили громадную пользу тем, что их можно было перебрасывать из одного района в другой, в зависимости от хода боев и скопления раненных. Для обслуживания питательных пунктов и поездов был приглашен кадр весьма опытных в кормлении масс переселенческих и крестьянских чиновников и, так называемых, «хозяек» проходных переселенческих пунктов, которые блестяще справлялись с возложенным на них делом, даже при таких скоплениях масс, как было, например, в Шубковском лагере под Ровно, когда во время холерной эпидемии, пришлось кормить до 70 000 беженцев, распределив их по группам: здоровых, подозрительных, выздоравливающих и больных.

Кроме питательных учреждений, нашей хозяйственной частью были выполнены тоже уже на фронте, т. е. вне первоначального плана, сложные и многочисленные формирования конных транспортов для перевозки раненных, когда, по мере развития военных действий, обнаруживался недостаток перевозочных средств, особенно в гористых прикарпатских местностях. Снабжение приходилось приобретать через различных агентов этой части в различных местностях Империи, включительно до Финляндии. Формировочные пункты находились сначала близ Волочиска [так в источнике] /в имении княгини Волконской/, а затем в Лубнах: Иваницкий вникал в каждую мелочь формирования, часто посещал место работ, приводил своими наездами в страх и трепет местных служащих, но в основе всего дела допускал большую, с моей точки зрения, ошибку: он все время находился под гипнозом невозможности длительной затяжки войны; так уже не верилось всем, что современное человечество способно бесконечно долго истреблять себя и свою культуру; ошибка И. была естественна, но отрицательно влияла на дело: не было сразу того его размаха, который дал бы возможность по более выгодным ценам заготовить все необходимое, так сказать, впрок, на всякий случай; работы шли приспособляясь к военным обстоятельствам, но не опережая их. Порывистый, впрочем, далеко не всегда остававшийся на реальной почве, С.В. Резниченко тяготился благо-разумной расчетливостью Иваницкого; на этой почве у них происходили частые стычки. Последние, однако, были менее сильны, чем с медицинской частью, состав которой не имел почти совершенно делового «чиновничьего» опыта, и нервировал И. уже как раз по обратной причине — недоста-

точной, в представлении И. инициативной самостоятельности этой части. Те же основания приводили часто к бурным оценкам между нашим начальником и управляющим складами В.Д. Евреиновым, который, имея большой служебный опыт и ведя у нас очень сложное дело распределения снабжения и пополнения его, отличался, однако, излишней осторожностью и порою формализмом, которые не всегда отвечали требованиям военного момента и тоже приводили Иваницкого в нервное состояние. В общем же, в сущности, как впоследствии признавал и сам И., все его ближайшие сотрудники, имея те или иные свои особенности и, конечно, недостатки, работали хорошо и были проникнуты тем взаимным деловым доверием, без которого немислима никакая работа. Собрания всех сотрудников в кабинете И. происходили почти ежедневно; мы их, в шутку, называли «конклавами». Каждое собрание сопровождалось криками; сдержан был только В.Д. Евреинов, всплывший, за всю нашу совместную работу, насколько я помню, один раз. Я давно утратил свое бывшее хладнокровие. Однажды, в пылу спора, у меня вырвалось по адресу нашего начальника совершенно нецензурное выражение, после чего я получил от него письмо, в котором он мне говорил, приблизительно, следующее: «вы вчера допустили такое нарушение примитивных требований служебной дисциплины, что, думая вечером о вашем поступке, я пришел к убеждению в моей виновности перед вами; очевидно, я вас, действительно, сильно раздражил или обидел, раз вы решились на такой выпад против меня». Так у нас в старорежимной среде чиновничества, разрешались порою острые столкновения. Было нечто выше мелочных обид, что нас спаивало и связывало. Часто на «конклавах» наших происходили сцены и юмористического свойства. Помню, например, какое трагикомическое выражение лица было у председателя «конклава», когда он нам прочел, среди другой переписки, телеграмму о гибели его жеребца. Я сначала ничего не понял. Затем узнал такие подробности этой истории в бытность Иваницкого в Лубнах, на нашем формировочном пункте, он осматривал ветеринарные учреждения, производившие, между прочим, охолощивание [так в тексте] жеребцов. Вскользь он заметил, что было бы хорошо оперировать здесь и его собственного, крайне беспокойного, жеребца. Усадьба И. находилась в нескольких верстах от Лубен, и ветеринар, желая оказать любезность И., по отъезде последнего, послал вахмистра за лошадью И. После операции жеребец почему-то немедленно издох. Заведывающий пунктом был чрезвычайно сконфужен и взволнован, так как ветеринары уверяли И. в блестящей постановке этого дела. Вахмистр предлагал найти похожую на погибшего жеребца лошадь, и уверял, что И. не заметит замены, но приведенная им лошадь оказалось кобылой, а потому мысль о замене, хотя и не без колебаний, бросили, и в Киев была послана печальная телеграмма. И., конечно, был настолько тактичен, что не упекал заведывающего хозяйственной частью за личный ущерб, но использовал этот случай, чтобы подвергнуть злостной критике вообще постановку дела, которое ведется, мол, верхоглядно, без серьезной задумчивости и т. п. Произошло, в результате, громкое объяснение.

Все, что делалось на «конклаве», вследствие повышенных голосов его участников, было слышно всем нашим сотрудникам, не исключая и самых второстепенных агентов, писцов, санитаров и проч. Поэтому о наших заседаниях рассказывались часто различные веселые, обычно безобидные, анекдоты.

Я остановился несколько на приведенных мною мелочах нашей служебной обстановки, чтобы в дальнейшем понятнее были некоторые обстоятельства, имевшие место в первое время после государственного переворота.

Повторяю что несмотря на видимую внешнюю рознь и раздражение наших собраний, мы, как высшие руководители краснокрестным делом на фронте, внутренне были тесно взаимно связаны теми узлами, которые даются сознанием совместного честного исполнения своего долга.

Я имею право говорить о честно исполнении долга потому, что Управление, не в моей только оценке, но и в глазах всего общества юго-западного края, прочно завоевывало себе такую репутацию. У нас были единичные случаи злоупотреблений в среде чрезвычайно многочисленного местного состава, но это были, в буквальном смысле слова, редкие исключения, несмотря на то, что многомиллионные заготовки, широкие права по льготным перевозкам и т. п. в ненадежных руках могли бы давать благоприятнейшие способы для личного обогащения.

Развитие новых формирований, создание массы новых учреждений, а также и естественные перемены личного административного состава в основных наших учреждениях, особенно на передовых отрядах — все это требовало очень большого запаса подходящих кандидатов на должности, которые, хотя и не были сопряжены с какими-либо сложными обязанностями, но требовали честного, и в особенности, строго-исполнительного отношения к делу, абсолютно необходимого для работы в боевых условиях. Иваницкий, в отношении подбора административного состава предоставлял мне полную свободу. Установившиеся у меня широкие общественные связи и знакомства весьма облегчили мне выполнение этой скромной, но весьма ответственной для доброго имени Красного Креста, задачи. Я собирал о каждом кандидате самые тщательные сведения. Между прочим, особенно много пригласил я присяжных поверенных и их помощников — поляков на должности начальников передовых отрядов и конных транспортов. Этому способствовало знакомство мое с б[ывшим] Председателем Киевского Совета присяжных поверенных И.[?]Н. Пересветом-Солтаном, человеком высокой нравственной порядочности. Как поляк, он, естественно, ближе знал польское общество и за рекомендуемых им лиц ручался. Когда он не был уверен в нравственных качествах того или иного лица, просившего меня о назначении, он сообщал мне, в силу щепетильной этики адвокатов, что такой-то присяжный поверенный ему совершенно неизвестен; при таком его отзыве, я знал уже, что данное лицо не заслуживает доверия. Подписывая приказы о многочисленных адвокатско-польских назначениях, Иваницкий, иногда, шутя, а иногда, когда находился в плохом настроении, и полусерьезно упрекал меня в чрезмерном

полонофильстве и пристрастии к адвокатам. Однако, ни разу, конечно, не отказал он в утверждении избранного мною лица. И, надо сказать, наши краснокрестные поляки с честью оправдывали рекомендации славного их патрона, с которым впоследствии мне пришлось встретиться при иных печально-трагических обстоятельствах. Европейская война, особенно на галицком фронте, была для поляков, в буквальном смысле слова, братоубийственной; случалось, что брат сражался против брата. Поэтому, естественно, стремясь на гуманную краснокрестную службе, они всемирно старались всем своим поведением показать, что не трусость побудила их идти в ряды Красного Креста; они очень охотно работали под неприятельским огнем. Большинство из них получило награды за храбрость. Впрочем, я должен отметить, что для массы наших служащих их работа протекала в весьма опасных для жизни условиях, при постоянной бомбардировке наших учреждений аэропланами, а часто и орудийным огнем; со времени же государственного переворота такая обстановка перебросилась и на тыловые учреждения.

И Иваницким за всю кампанию, в отношении выбора личного состава, у меня вышло только одно небольшое недоразумение. Однажды, в своем служебном кабинете, он познакомил меня с богатым помещиком П., которого он, по-видимому, обнадежил в назначении на должность помощника уполномоченного в его уезде. Из разговора И. с П. Можно было сделать вывод, что вопрос о назначении последнего считается решенным; так, по крайней мере, понял это сам П. Когда он через несколько дней явился ко мне, то был очень недоволен и даже раздражен, что его назначение еще не оформлено. Я ему разъяснил, что у меня есть свой способ наведения справок о кандидатах на должности и просил подождать. Через некоторое время я получил о П. Сведения, лишавшие меня возможности поддерживать его назначение, и я представил Иваницкому другого кандидата, на назначение которого он и согласился. Из ложного, вероятно, самолюбия, И. старался уверить меня, что он определенно не обещал места П., что будто бы я неправильно понял слова И. при рекомендации мне П. И сам дал повод последнему считать свое назначение решенным. Я обозлился в нашем споре с И. в такой степени, что П., после свидания со мною, немедленно отправился в Петербург жаловаться на мой произвол и грубость. Жалоба его была оставлена без всякого внимания.

Вообще, никаких протекционных назначений при замещении многочисленных должностей по нашему Управлению, как в центральном, так и в местных его учреждениях, не было совершенно; нужные работники приглашались нами, исключительно, по соображениям делового их ценза и нравственных качеств. Исключение представляли из себя несколько лиц придворного круга, которых Главное Управление должно было устроить в качестве помощников главноуполномоченного с первых же дней войны, но эти лица скорее являлись почетными нашими сотрудниками, серьезной активной роли не играли, были полезны нам своими связями с крупными благотворителями и вообще влиятельными кругами общества и ничего не стоили Красному Кресту, так как вообще никакого содержания не получали.

Должен, вообще, отметить, что большинство наших высших и средних служащих не пользовалось полностью содержанием, присвоенным их должностям; некоторые работали даже всю войну безвозмездно, другие — за половинное содержание, до тех пор, пока, в связи с наступившей смутой, не началось постоянное вздорожание жизни и вообще материальные интересы не начали для части русских людей преобладать в их работе над нравственными побуждениями.

Итак, наш центральный-фронтовой орган Красного Креста, представлял из себя чиновничий аппарат с большим техническим опытом и умением вести дело с надлежащей бережливостью в расходовании казенных и общественных средств, находился в тесной взаимной связи с органами местного самоуправления и частными благотворителями, а равно, строго следил за поведением тех же приемов работы и в районах армий, которые имели, как я говорил выше, особых представителей Креста, особоуполномоченных, подчиненных непосредственно главноуполномоченному. Состав этих агентов, по их служебным качествам, не всегда отвечал требованиям строгого порядка и дисциплины, сообразно требованиям военной обстановки. Все наши армейские представители и их помощники отличались одним бесспорным качеством — честностью, хорошим образованием и воспитанием, но среди них встречались люди, не привыкшие к строго-дисциплинированной работе, а один из них был воспитан на самом легком занятии — поверхностной критике на словах правительственной деятельности, говорении, а не делании. С лицами, не любившими порядка, вел иногда ожесточенную войну Иваницкий при частных своих поездках на армейские районы.

Первая поездка его театра военных действий волновала и занимала все наше Управление; узнать, что делается там, где уже началась война, к чему направлялись постоянно мысленные наши взоры, чем мы, в сущности, всецело жили даже тогда когда отдыхали от работы, спали, обедали — было, конечно, чрезвычайно заманчиво. Молодежь наша стремилась, естественно, попасть в поездку с И.; он взял с собой В. Глинку, сына Г.В. Когда они вернулись из объезда Ковальско-Шоблинского района, где тогда завязались сильные бои, и сейчас же приступил к расспросам у Воли Глинки, заметно побледневшего и похудевшего: «ну, что видели?» На этот мой вопрос Г. мрачно отвечал «ничего не видел, а только слышал». Я предположил, что он говорит о звуках канонад и т. п., но сейчас же был разочарован: Г. слышал не пушки, а бурные служебные разносы Иваницкого. Неудачи начались с первых шагов, кажется, со станции Сарны или Ковал. По расчетам И. здесь должен был уже находиться один из наших поездных отрядов. На вопрос его, не прибыл ли отряд, помощник особоуполномоченного, явившийся встретить И. в его вагоне, выразил на лице своем изумление, подошел к окну вагона и, вдруг, начал присматриваться к запасному пути. «Позвольте, а там, будто бы, стоит какой-то поезд со знаками Красного Креста», заявил И. и постепенно разобрал на нем надпись с названием ожидаемого отряда. Заместитель особоуполномоченного спокойно объяснил, что, очевидно, отряд прибыл только что, непосредственно перед (Л. 314)

приездом И. на станцию, но последнего нельзя было легко успокоить; он отправился к отряду и узнал, что он находится на станции уже несколько дней. Произошла, вслед за этим, тут же на станции, столь бурная сцена, что имевший в Петербурге большие связи помощник особоуполномоченного немедленно уехал «жаловаться Государю» на грубое обращение с ним и больше на нашем фронте не появлялся.

Дальнейшая поездка сопровождалась многими волнениями И. в том же роде; порою, вследствие своей горячности, он сам бывал неправ, но на местах подтягивались, понимали, что будет постоянный и строгий надзор.

Наиболее острыми моментами в жизни армейских краснокрестных учреждений были быстрые подвижные или неожиданные отступления армий, что, обычно, вызывало изменение дислокации корпусов и обслуживающих их санитарных учреждений; часто целые армии переходили из нашего фронта на другой и наоборот. Особоуполномоченные, естественно, ближе всего воспринимали узкие эгоистические интересы данной армии, стоя далеко от общего плана наиболее целесообразного обслуживания всего фронта, в его целом виде, старались, опираясь на содействие в этом отношении командиров отдельных частей, оттянуть в этом отношении для своей армии. Ясно, что механически делить учреждения в таких случаях было невозможно; нельзя было оголять пути эвакуации, независимо от того, какой корпус или армию они обслуживали первоначально; требовалось считаться и с ходом боев. Кроме того, при наступлениях и отступлениях особоуполномоченные держали, так сказать, экзамен по их административной распорядительности.

Как известно, ни один фронт не изобиловал столь частыми крупными устремлениями наших вперед, громадными прорывами и неожиданными отходами. От особоуполномоченных требовалось поэтому весьма умелая и напряженная работа, с которой они, большей частью, при бдительном надзоре Иваницкого, успешно справлялись, но на почве или борьбы его с их эгоистическими домогательствами, направленными к нарушению общего плана действий, часто происходили бурные объяснения. Из наиболее деятельных особоуполномоченных нашего фронта назову членов Государственной Думы Н.И. Антонова и Г.Г. Лерхе, гр. А.А. Бобринского /периодически замещавшего отсутствующих особоуполномоченных/, ген[ерал]-лейтенанта Губера, полковника С.Н. Ильина, прошедшего за время войны все должности по Красному Кресту, начиная от должности начальника передового отряда и кончая должностью главноуполномоченного уже на внутреннем нашем фронте в период гражданской войны, наконец, гр. А.Н. Игнатьева, занявшего должность особоуполномоченного в самый трудный революционный период войны; кроме того, некоторое время, работал, в качестве представителя 7-ой армии, и А.В. Кривошеин, до назначения его главноуполномоченным западного фронта; его помощником, а потом и заместителем был известным общественный деятель А.Н. Крупенский.

С одним из особоуполномоченных, будущим агентом Временного Правительства, М.А. Стаховичем так и не удалось Иваницкому установить

взаимного понимания и разумного направления работы. Этот оппозиционный оратор усматривал в распоряжениях центрального органа только признаки «бюрократического засилия», а не того порядка, который позволил сохранить нам работоспособность учреждений даже в то время, когда все рушилось на фронте, под влиянием большевистской агитации и даже после падения власти Временного Правительства. Этому нашему сотруднику пришлось с нами расстаться еще в первый период войны.

Помню, с каким ужасом рассказывал мне представитель Государственного Контроля при нашем Управлении П.Ф. Д-н о результатах первой ревизии его в Управление Стаховича. В той хаотической картине ведения денежной отчетности, которую обнаружил представитель Контроля в названном Управлении, прежде всего был, впрочем, виноват я. На основании непроверенных мною данных, я командировал в распоряжение Стаховича одного мелкого чиновника на должность его счетовода, который, как оказалось, в этой области был очень мало сведущ, но, по-видимому, вполне подходил к требованиям С., не любившего стеснять дело какими-либо формальностями. С., как человек честный и со средствами, думал, очевидно, в случае каких-либо просчетов, покрывать убытки из личных средств, но забывал при этом, что Красный Крест подведомствен в своих операциях ревизии Государственного Контроля. Другого объяснения происшедшему инциденту я подыскать не могу, так как иначе С., при его самостоятельности, должен был бы с первых же дней откомандировать ко мне обратно неудачного счетовода. П. Д-н, человек удивительной душевной доброты, но чрезвычайно оригинальный неврастеник, увидев денежные записи счетовода, едва не лишился чувств, побледнел и начал даже говорить ревизуемому им чиновнику «ты», добавляя к этому фамильярному обращению разные нецензурные эпитеты, тот же так опешил, что даже не пытался возражать или протестовать; он сознавал, видимо, полную деловую правоту контролера. Вместо обычных денежных приходо-расходных книг последнему была предъявлена маленькая записная книжечка, в которую счетовод записывал все поступления и расходы, хронологически, в порядке их получения или производства. С величайшим трудом был сведен балансовый итог, причем кассовая наличность оказалась правильной, но лишь после выемки денег из брючных карманов особоуполномоченного. Такой упрощенный способ счетоводства не мог, конечно, не привести правоверного контролера в состояние потери душевного равновесия.

Кстати, о последнем. С контролем, в виду его формализма, обычно происходят утомительные и досадные трения, даже и при соблюдении известных справедливых форм отчетности. Бывали такие трения и с Д.; однажды, после какого-то столкновения, он даже сделал особое письменное заявление, чтобы мне было запрещено не только переписываться с ним непосредственно, но даже разговаривать по контрольным делам, так как я, мол, ничего в них не понимаю, а он по своему служебному положению может сноситься только с главноуполномоченным. Однако, несмотря на подобные неврастенические выходки, мы все скоро привязались к Д. За его рыцарскую смелость во многих отношениях, оригинальность и очень хо-

рошее в конце концов, отношение к нам. Злились мы иногда очень серьезно на него за его мрачные взгляды на войну, за то, что он с раздражением, после нашего стремительного отхода от Карпат и из Галиции, повторял: «подождите, еще настанет время, когда фронт наш будет на Урале». Случайно он оказался пророком.

В связи с продвижением армий, наше Управление в начале 1915 года было перемещено в Люблин. На почве выбора места нашего пребывания у Иваницкого происходили жестокие столкновения с его непосредственным военным начальством. Главный начальник снабжений генерал Забелин, замененный вскоре генералом Мавриным, настойчиво требовал, чтобы фронтовое управление Красного Креста находилось в одном городе с Управлением начальника снабжений. Курьезно, что такое требование не предъявлялось к фронтовым комитетам Земского и Городского союзов, очевидно, только по чисто формальным основаниям, только потому, что в Положении о полевом управлении войск о союзах не упоминалось, а Красный Крест признавался частью Управления Главного Начальника Снабжений между тем, ближайшее наблюдение со стороны последнего за длительностью этих именно комитетов представлялось бы несравненно более необходимым чем за нами по причинам, о которых я скажу в своем месте.

С большими трениями Иваницкому удалось отстоять право наше выполнить хотя бы организационную работу в Киеве, как наиболее удобном для заготовительных и мобилизационных операций центре, когда управление ген. Забелина переехало в захолустный Брест. Достигнуть этого удалось путем назначения туда постоянного нашего представителя, гофмейстера В., милейшего светского, но не делового человека; впрочем, и делать ему там, в сущности, было нечего; требовалось только удовлетворить чисто формальное приказание военной власти. Когда Управление снабжений было переедено из Бреста в Люблин, решено было нам разделиться: мобилизационные распоряжения были сосредоточены в Львове, где поселился с небольшой канцелярией Иваницкий, а все остальные части нашего Управления переехали в Люблин, так что, фактически, им была предоставлена со стороны И. почти самостоятельность работы. Новый начальник снабжений Маврин в начале подозрительно отнесся к Иваницкому, предполагая, что он не склонен подчиняться военным властям. При первом представлении ему Иваницкого он, хмуро смотря на него, раскрыл Положение о полевом управлении войск и начал читать статьи, определяющие состав Управления Начальника Снабжений; «вот кто подчинен Начальнику Снабжений», говорил он, показывая пальцем на статьи Положения, «начальник военных сообщений, главный интендант, начальник санитарной части, полевой казначей, контролер и т.л.». «И на последнем месте», закончил он чтение, особенно ударяя на этих словах и внимательно смотря на Иваницкого, «поставлен Главноуполномоченный Красного Креста». На это И. спокойно ответил, что он уже давно хорошо ознакомился с Положением, и на этом первое свидание их закончилось. Вскоре ген. Маврин понял, что действия Иваницкого, казавшиеся только с первого взгляда произвольными, были направлены исключительно на

достижение возможно больших полезных результатов от краснокрестной работы, и отношение этого выдающегося честного генерала, как к Иваницкому, так и ко всему нашему Управлению, хотя внешне порою и суховатое, было исполнено доброго внимания и уважения, чем он пользовался и с нашей стороны до конца нашей совместной работы уже во время государственного переворота. Я шокировал сначала Маврина своим слишком штатским видом и привычками: рукою в кармане, папиросой в зубах и т. п., но он скоро понял, что дело не в этих, чисто внешних, признаках дисциплины, столь необходимых в военной среде и так трудно воспринимаемых гражданскими чинами, случайно и на время попавшими на совместную с военными работу. Он внимательно выслушивал мои доклады и бывал ласков, насколько может быть ласков суровый, много работающий солдат.

Иваницкий из Львова, в первый же день взятия нами Перемышля, ездил туда для организации питательной помощи раненым и населению; затем он оставался в Львове до последних дней удержания его в наших руках, так как наши перевязочно-питательные учреждения работали на вокзале, под огнем неприятеля, до конца эвакуации, за что большинство местного краснокрестного персонала, во главе с Иваницким, было награждено Георгиевскими медалями.

Моя тыловая работа в Люблине протекала в спокойной, уже налаженной обстановке, требовала большой усидчивости и внимания к различным деловым мелочам, но, в общем, была мало интересна. Стильный старинный город Польши, с которым связано и много русских исторических событий, стал за несколько месяцев нашего пребывания в нем каким-то дорогим для нас; покидать его было грустно. Здесь мы пережили радость взятия Перемышля и победоносного продвижения наших армий к Венгрии, с ожиданием взятия Будапешта; здесь же была пережита нами недоуменная печаль по поводу стремительного нашего отступления. Сначала известию об утрате нами Перемышля никто не верил; потом, когда официальные сообщения не оставляли уже места сомнениям, вдруг дошел до нас слух, что Перемышль снова взят нашими войсками. Несколько часов этому верили, потому что очень не хотелось верить в возможность серьезных неудач. Кто-то, кажется директор местной гимназии, получил неразборчивую сильно запоздалую телеграмму об оставлении Перемышля; телеграмма была понята, как известие о вторичном его взятии нами. Служи о том, что у нас не хватает снарядов, что наши солдаты отбивались порою от врага прикладами и даже палками, усиливались, но первое время им старались не верить. Смотревших пессимистически на исход войны резко порицали, называли паникерами. Я в глубине души, но, увы, не долго, возмущался Н.А. Хомяковым, который даже в период наших успехов ворчал; в бытность мою в Львове он говорил: «какая это будет для нас печальная война; такой еще не было». Я видел встречу Государя в этом вновь присоединенном городе и вскоре понял, что большую ошибку сделали те, кто посоветовал Царю поспешно посетить Львов и говорить о соединении всей старой Руси.

В апреле 1915 г. я был срочно вызван в совещание к генералу Маврину; обсуждались меры эвакуации, в связи с поспешным отступлением. Для

штатского человека, для чиновника, привыкшего к созидательной, а не разрушительной работе, предложенные военным ведомством меры были дики: предписывалось уничтожить все продовольствие в оставляемых районах, даже хлеб на корню, даже большинство усадеб, сад и т. п. Война давала опытные уроки будущей смуте; учила народ грабежу и разорению чужого имущества. Кроме того, такие меры возбуждали сомнение в возможности нашего возвращения, по крайней мере, в скором времени, на места наших побед; они указывали, что война затягивается уже не на месяцы, а на годы. Все это убивало веру, не поднимало, а умерщвляло бодрость духа. К разорению имуществ присоединялось разорение людей, так как все население способное сражаться, подлежало принудительной эвакуации, создавалась недовольная масса оторванных от своих семей и родных углов людей; эту массу отправляли в тыл, где она с миллионами запасных, часто совершенно бездействующих, часто призванных почему-то как раз в разгар полевых работ, представляла из себя громадный горячий материал для будущего революционно-анархического костра.

В это именно самое время поползли, очевидно, под влиянием строго продуманной и хорошо руководимой пропаганды, зловещие гнусные слухи об измене, о возможности сепаратного мира с немцами, о роли в судьбах войны и направлении нашей внутренней политики придворного «старца» Распутина. Те, кто стоял далеко от наших военных масс, кто видел их только в боях да путешествуя в своих собственных вагонах, то сталкивался лишь с официальной и парадной стороной военной жизни, не знал и не понимал, конечно, значения и размера возникавших слухов. Обывателям же, в том числе и мне, приходилось быть свидетелем таких разговоров среди нашего офицерства, даже лучших гвардейских полков, не говоря уже о многочисленной «штатской» нашей армии, о «земгусарах» и т. п., которые указывали, что назревает какая-то грозная опасность не только для династии, но и для родины. Пресса широко поддерживала, не обращая внимания на военную цензуру, злые слухи. Думские кафедры помогали прессе и тем таинственным людям, которые где-то за кулисами дирижировали революционной увертюрой. Из первоисточников становилось иногда известно о протестах по поводу нашего политического курса со стороны лиц самых близких к Царю. В результате, мы узнавали только об опале постигшей то или иное лицо, несмотря на его высокое положение или родственной отношение ко Двору. Среда Красного Креста, в частности, была смущена внезапным, но таким основаниям оставлением своей должности при Ставке представителем нашего общества П.М. Кауфманом-Туркестанским.

Особенно стали шириться тревожные слухи после устранения популярного в армиях Великого Князя Николая Николаевича от верховного командования и после того, как даже консервативный Государственный Совет принял большинством голосов резолюцию об опасности «безответственных влияний». И самого главного при этом, того, вся сила чего была признана лишь слишком поздно, после переворота, т. е. контр-пропаганды, не было совершенно. Те на кого, как поняли мы только впоследствии, клеветали, считали ниже своего достоинства выступать с какими-либо опро-

вержениями. Между тем, было время, когда даже нескольких Высоких слов, сказанных представителям народа с думской кафедры, было бы достаточно, чтобы ослабить, расстроить ряды внутренних врагов. Милоуков в Думе, не имея, как оказалось потом, никаких данных, на весь мир кричал об измене нашего премьера Штюрмера, и мы, простые граждане-обыватели, так и оставались под впечатлением этого тяжкого обвинения. Нам никто, в опровержение Милоуковского утверждения, ничего не говорил. Хотели, чтобы им верили вслепую тогда, когда великие потрясения родины заставили жить сознательно громадные массы русских людей. В душе гражданина-обывателя накапливалось злобное или печальное, в зависимости от темперамента, раздражение, которое неминуемо должно было толкнуть его на ложные выводы, пути и действия, тем неизбежнее, что эти печаль и злоба диктовались самыми сильными и высокими побуждениями — любовью к родине, печалью за ее неожиданные неудачи, злобой на тех кто молвой, никем не опровергаемой, считался виновником этих неудач.

Начиналось, одним словом, то самое трагическое за все время существования России недоразумение, которое привело ее к временной гибели. «Недоразумение», конечно, для масс русского народа, для большинства русской интеллигенции, пожелавшей чисто политического персонального переворота, но не для той кучки утопистов, которой, по забытым в то время словам покойного Столыпина, так нужны были «великие потрясения», этот раз при мощной помощи внешних врагов России.

Моя душа, по причинам, возникшим еще ранее, до войны — в силу, казавшихся мне крупными, служебных неудач, была подготовлена к восприятию царившего в России зла и печали. Слыша доносившуюся издали канонаду немецкой артиллерии, наблюдая за спешной упаковкой вещей и дел нашего Управления, я винил во всем происходившем Того, Кто в это время скорбел о наших неудачах, без сомнений, гораздо острее и сильнее чем я, ибо Он был не только гражданином, но и Представителем всей нашей родины.

После утомительной поездки на автомобиле через Холм и Ровно в Дубно, я окрестностях коего предполагалось, по настоянию военных властей, разместить наше Управление, хотя было уже ясно, что Дубенский район скоро явится передовым на фронте боевых действий, я вернулся в Люблин, чтобы покинуть этот город навсегда, для переезда на четыре года в Киев. Когда здесь один из моих сослуживцев, вошедший впоследствии в состав Временного Правительства, видя мои заботы о текущих злободневных делах, заявил мне: «чего вы волнуетесь, стоит ли думать о мелочах в такое время, когда надо засучивать рукава и идти на борьбу...» /и без слов понятно с кем и с чем/, я уже не оскорбился и не изумился. Масса русской интеллигенции была тогда готова к этой борьбе и участвовала в ней, если не активно, то пассивно, легко приняв свершившийся переворот, признав его. Я от активного участия в политической работе, к счастью, отказался и добросовестно, как чиновник, продолжал на фронте свою скромную работу, но она меня уже весьма раздражала, к чему, впрочем, были и действительные объективные основания.

Как я уже упоминал, в работе моей преобладала, после первого организационного периода, чисто канцелярская мелочь; по сравнению с деятельностью моей мирного времени, работа была очень однообразна и скучна, но дело, конечно, могла идти правильно только при условии самого внимательного отношения к всем его мелочам, так как, повторяю, мелочей на службе нет — в ней важен, как и в машине, всякий мелкий незаметный винтик.

Мелочи моей работы отнимали у меня весь почти день: с раннего утра до позднего вечера, с небольшим только перерывом для обеда. В эти мелочи вносилось много затруднений излишним, с моей точки зрения, формализмом и нежизненными требованиями военного ведомства.

Помимо того, что нашему Главному Управлению надо было доставлять ежемесячные или сводные за два-три месяца обзоры нашей работы, для чего требовалось извлекать различные цифровые данные из разрозненных, обычно скудных, донесения наших армейских и тыловых представителей, систематизировать сведения о ходе военных действий, дабы связывать с ними те или иные краснокрестные операции и т. п., военные власти фронта прямо заваливали наше Управление требованием всевозможных, часто, но в общем незначительно, менявшихся в короткие сроки, цифр: о числе больных, раненных, санитаров, лошадей, повозок, вагонов и т. д. Наиболее большим был вопрос о санитарах, и хотя, с первого взгляда, этот вопрос представляется второстепенным, но мой опыт в этом деле может, мне кажется, пригодиться на будущее время, почему я скажу о нем несколько слов.

Несмотря на массовые призывы, военное ведомство хронически беспокоилось, чтобы в санитарных учреждениях не работали «бойцы»; при всяком удобном случае следовали решительные резолюции: «каждый лишний боец нужен фронту». В представлении нашего военного ведомства санитарная служба являлась чем-то второстепенным. Поэтому оно систематически повышало возрастной ценз для должности санитаря, требуя откомандирования более молодых возрастов, как будто бы физическая выносливость и служебный опыт не имели никакого значения для санитарной службы и как будто бы правильная постановка последней не обеспечивала сохранения именно возможно большего числа бойцов и скорейшего возвращения раненных на фронт. Когда в Киев вошли германцы я обратил внимание на здоровый, бодрый вид их госпитальных санитаров; почти все были молодых возрастов. Известно, что в германской армии потери ранеными и больными были относительно меньше, а сроки возвращения в действующие части были значительно короче чем у нас, кажется, чуть ли не в два раза. Требования наших фронтовых властей, хотя у нас, конечно, не могло быть такого кризиса в живой боевой силе, как в Германии, предъявлялись часто так неожиданно, с такой не деловой поспешностью, что только сбивали с толку, нарушали налаженное дело, портили личный состав даже передовых отрядов, обозов санитарных транспортов. На переписку по этим делам тратилось невероятно много бумаги, времени и нервов. Опыт последней великой войны должен быть использован по сравнительным данным нашей и чужой санитарной статистики, чтобы раз

навсегда для следующих войн покончить с вредным невежеством военных властей в такой ответственной области, как помощь больным и раненым воинам.

Другая, более мелкая, подробность моего дела, которая чрезвычайно меня нервировала и утомляла — это была переписка о награждении служащих. Красный Крест, равно, как и другие общественные организации, совершенно разумно в самом начале войны постановили никаких наград своим служащим не испрашивать, отложив вопросы о том или ином награждении их ко времени окончания войны. Такая мера освобождала бы Управление Красного Креста и другие от излишнего во время войны канцелярского труда, выслушивания просьба со стороны лиц, считающих себя обойденными, вообще от всяких не относящихся к сущности дела мелких формальностей, сопряженных неизбежно с наградными операциями. Последние вовсе не так просты, как кажется: наградная часть управлений должна иметь в своем распоряжении формуляры служащих, вести алфавитные книги награжденных с указанием рода и срока награды, в нескольких экземплярах составлять мотивированные, основанные на законе и дополнительных к нему распоряжениях специально военного времени, представления и т. п. Военные фронтовые власти, оставляя в покое Союзы, предъявили к Красному Кресту обязательное требование руководствоваться в наградном деле общими для воинских учреждений правилами о наградах; формальным основанием такого требования служило, очевидно, опять-таки то обстоятельство, что Красный Крест рассматривался Положением о Полевом Управлении войск в качестве составной части военного управления тылом фронта. Если можно было еще оправдать раздачу боевых наград краснокрестным работникам передовых лечебно санитарных учреждений, так как подобные награды особенно ценятся и оказывают поощрительное влияние в случае пожалования их так сказать по горячим следам мужественного поступка, то тыловая работа, несомненно, с полным успехом поддавалась наградной оценке по окончании войны, хотя бы в виде особо льготных награждений чинами и орденами; минуя два, даже три очередных чина или ордена, пусть, даже считая каждый месяц войны, в случае ее победоносности, за год. Между тем у нас началась прямо какая-то наградная вакханалия в разгар войны, в разгар тягчайшего положения на фронте. Приказы требовали представления служащих к наградам чуть ли не каждые полгода. Мне пришлось заводить многие сотни формуляров различных наших губернских, уездных, армейских работников. Сначала наградным делом ведал милейший и добрейший В., но он готов был представить каждого к любой награде; по отсутствию надлежащих записей при нем появились представления некоторых лиц ко вторичному награждению одним и тем же орденом или медалью и т. п. Военное начальство придиралось к подобным непорядкам. Устранение их потребовало от меня затраты на ненужное дело очень много полезного времени. Но самое главное — начались, в связи с наградной вакханалией, различные жалобы, домогательства, в особенности со стороны дам-благотворительниц: награждение одной ранее другой или случайно более высокой наградой вызывало

обида, объяснения, иногда в повышенном нервном тоне. Светские дамы юго-западного края, имея старые личные связи с Главнокомандующим генералом Н.И. Ивановым, так как перед войной он долго командовал киевским военным округом, надоедали даже лично ему своими хлопотами о наградах, даже иногда ездили к нему в ставку, занимая его наградной болтовней в то время, как ум и сердце всех, а в особенности, конечно, главнокомандующего, должны бы были быть заняты тем, что происходило на театре военных действий. Добряк Н.И. Иванов не имел вилы воли прогнать от себя всех подобного рода просительниц, он их внимательно выслушивал, напоминал нам о забытых при распределении очередных наград. Мне все это было противно до глубины души; и однажды у меня на этой почве произошло даже столкновение с адъютантом Главнокомандующего. Я, утомленный дневной работой, готовился уже ко сну, кажется, в первом часу ночи, когда в квартире нашей раздался сильный звонок и прислуга сообщила мне, что меня желает видеть какой-то офицер по срочному поручению Главнокомандующего. Я в первое время подумал, что произошло что-либо весьма важное на фронте и с любопытством поспешил гостиную. Офицер начал говорить мне, что некая г-жа Г., работающая добровольно в большом частном лазарете, до сих пор не представлена к очередной медали, в то время, как ее, кажется, родственника, за аналогичную работу уже награждена соответственно медалью. Главнокомандующий интересовался узнать причину такого невнимания к заслугам Г. и предлагал в срочном порядке войти с представлением о ее награждении. Я вспыхнул, заявил, что Г. совершенно не знаю /оказалось впоследствии, что она служила в госпитале Земского Союза/ и что ночью на дому у себя никаких сведения по этому делу дать не могу. Когда мой собеседник, задетый, вероятно, моим тоном напомнил мне, что он передал мне приказание Главнокомандующего и попросил точно формулировать мой ответ последнему, я заявил: «передайте Главнокомандующему, что я совершенно добровольно оставил свои служебные дела в Петербурге для того, чтобы принести посильную помощь больным и раненым, а не заниматься угождением дамам». Этот разговор никаких неприятных последствий для меня не имел: или офицер не передал генералу Иванову мои слова, либо последний с чуткостью отнесся к моему настроению. После крушения старого строя такой чуткости при моих служебных столкновениях уже не наблюдалось: нас признавали в подобных случаях либо контрреволюционером, либо большевистствующим, в зависимости от обстановки: люди, утратив взаимное доверие после того как души их были растленны революционными приемами работы и борьбы. В моих «эмигрантских воспоминаниях», которые явятся продолжением моих этих записок, мне придется остановиться подробно на большой психологии наших временных властей, отразившейся на моем личном служебном положении. Здесь этому печальному воспоминанию не место.

Вообще, я часто изумлялся, как наши, подчас суровые в своих требованиях по службе и в отношении даже чисто внешней дисциплины, военные генералы пасовали обычно перед дамской надоедливостью. Характерный, чрезвычайно возмущивший меня случай, имел место в первые дни войны

с одной родственницей моей семьи — богатой помещицей одной из пограничных губерний. Эта дама, взволнованная, как она говорила, «бездействием наших властей», прикатила в Киев, чтобы просить помощи у генерал-губернатора против нахальства австрийцев, забравшихся в ее сад и истребивших богатый урожай слив. Генерал Трепов, несмотря на все его спокойствие и добрый характер, и тот, по-видимому, рассердился на эту оригинальную просительницу, когда она не хотела понять, что у нас с Австрией война, что грабящие (Л. 327) ее сад австрийцы не частные люди, а солдаты передовых отрядов, что с ними будет сражаться наша армия, а полиции в это дело вмешиваться нельзя. По крайней мере, эта родственница очень жаловалась нам на невнимание к ней Трепова, на то, что он категорически и очень сухо отказал ей в помощи, тогда как, по ее мнению, для того, чтобы выгнать из сада тощих австрийцев требовалось не более 20–30 хороших стражников. Из ее рассказа видно было, что генерал-губернатор, будучи завален работой, все-таки долго с нею беседовал и, пока не был выведен из себя назойливостью просительницы, как бы даже извинялся за то, что борьба с австрийцами не дело гражданской власти, а сделался сух и даже грубоват только в самом конце разговора. Между тем, выпороть такую вздорную бабу, пользуясь положением войны, было бы, по-моему мнению, самое лучшее из того, что мог сделать генерал-губернатор, так как этим он надолго бы отвадил от себя надоедливо-взбалмошных просительниц, которые даже во время великих событий для их родины носятся прежде всего со своим маленьким «я».

Надоедливая мелочность и тоскливое однообразие моей канцелярской работы нарушались выездами моими для сопровождения Вдовствующей Императрицы, как Попечительницы Общества Красного Креста, по многочисленным киевским госпиталям, да сравнительно редкими выездами в различные местные совещания /Полтаву, Чернигов, Могилев, Кишинев и проч./ и для осмотра армейских учреждений.

В половине, кажется, 1916 г. Государыня Мария Федоровна переехала в Киев на постоянное жительство. Так как Иваницкий находился в частых разъездах по фронту, то мне, как его заместителю, приходилось очень часто сопровождать Государыню при осмотре лечебных учреждений. Государыня отличалась, несмотря на свой пожилой возраст, поразительной неутомимостью, проводя иногда на ногах, при обходе раненных, два-три часа без перерыва. Любимым ее учреждением был, естественно, собственный Ее Величества госпиталь, сформированный на ее личные средства Кауфманской Общиной, а также госпиталь Евгениинской общины /в здании Александровской гимназии/, в котором старшей сестрой была самоотверженно работающая Великая Княгиня Ольга Александровна. Выезды Государыни были (Л. 328) неожиданны, и мне по телефону из Дворца сообщали куда она едет; я быстро одевал ордена, шашку и быстро выезжал на автомобиле по указанному мне адресу. Не привыкнув к парадной стороне службы, я иногда забывал свои ордена дома и тогда брал у сослуживцев первые попавшие ордена. Государыня не замечала, конечно, перемены в моих отличиях, но придворная свита, по-видимому, изумлялась порою

неустойчивости моего «кавалерского» положения. Наши госпитали отличались обычно такой чистотой и исправностью, что никаких волнений посещение их Августейшей Попечительницей Общества не вызывало. Обиды на неравномерное и без соблюдения очереди посещение учреждений никем никогда не заявлялось, кроме одного госпиталя, Елизаветинского, начальник коего проф. Томского Университета Березниговский очень волновался по поводу долгого ожидания им Государыни; он несколько раз приходил ко мне спрашивать когда состоится приезд Государыни, претендовал, что часть других госпиталей уже осчастливлена Высочайшим вниманием по несколько раз и просил меня напомнить о существовании Елизаветинского госпиталя. Я обнадеживал его, что последний забыт не будет, но, конечно, не соглашался доложить непосредственно Государыне о желательности ускорить ее приезд в этот госпиталь, так как знал, что своевременно дойдет очередь и до него, направление же Государыни в то или иное учреждение не по ее собственной инициативе было бы неуместно. Что-то задерживало посещение Государыни этого госпиталя, и Березниговский не переставал мне напоминать о себе. Когда Государыня, наконец, прибыла в Госпиталь, этот профессор поднес ей букет цветов, выражал свои лицом полное счастье и подвел даже под ее «благословение» каких-то детей, которых выдавал за своих, кажется, племянников. Эту мелочь отмечаю здесь потому, что через несколько месяцев после этого тот же самый профессор пытался разыграть роль краснокрестного Робеспьера.

Пребывание в Киеве вдовствующей Императрицы совпало с пятидесятилетием прибытия ее в Россию. Я удостоился приглашения Ее Величества на парадный завтрак и затем был на парадном спектакле в городском оперном театре. Завтра носил довольно интимный характер и прошел оживленно, но в театре сказались на общем (Л. 329) настроении та тревога и недоумение, которые владели тогда умами и душами русских людей. Даже красивая в музыкальном отношении и художественно исполненная патриотическая кантата /не помню ее автора, кажется, Глиер/ прошла как-то незамеченной; отрывки из различных опер слушались совсем без внимания. В театре было печально, тоскливо. Говорили, под шумок, что сама Царица-Мать не одобряет политики своего сына.

Из моих поездок за пределы нашего центра наиболее богатыми по испытанным мною ощущениям были две командировки на фронт, когда и мне пришлось непосредственно ознакомиться с боевой обстановкой и еще более укрепиться в отвращении моем к варварствам войны. Большое влияние на такое мое настроение оказывало еще то обстоятельство, что при этих моих поездках я обнаружил в себе отсутствие храбрости, так как оставаться внешне спокойным в момент опасности — это еще, мне кажется, не значит быть храбрым: надо уметь еще не думать о самой опасности и надо уметь вернуться из опасной обстановки, сохранив непоколебленными свои нервы. Впрочем, по словам военных, к опасностям привыкают, как и ко всяким жизненным неудобствам.

Один раз я попал под орудийный огонь, возвращаясь в Киев из Минска кружным путем по Полесской железной дороге через ст. Замирье близ

Барановичей и Сарны. Я ехал вдвоем с помощником Заведывающего Медицинской Частью нашего Управления доктором А.В. Чириковым, моим старым сослуживцем-приятелем еще по ведомству водных путей. С утра мы ничего не ели, провизии с собою не взяли, так как нас сказали, что нас великолепно среди дня накормят на станции Замирье, где находился краснокрестный питательный пункт дочери Н.А. Хомякова — Е.Н. Скалон. Эта станция и была всю дорогу пределом наших мечтаний; к трем часам дня мы с Чириковым говорили уже только о малорусском борще. Как часто бывает, когда ожидаешь с особым нетерпением какой-нибудь станции, ближайшие к ней перегоны кажутся особенно продолжительными, а тут еще наш поезд застрял как раз на последней перед Замирьем станции. Мы стояли уже около получаса, когда сопровождавший нас санитар, побывав на станции, объявил нас, что Замирье ничего не отвечает по телефону, по-видимому обстреливается из соседних Баранович, (Л. 330) занятых германцами, но что начальник станции решил рискнуть пропустить наш поезд, в надежде, что он быстро, без остановки проскочит через линию огня. Мы тронулись и уже теперь все явственнее и явственнее несколько различали гул орудий. Перед ст. Замирье поезд наш постоял несколько минут как бы в раздумье и затем быстро помчался; мы слышали уже не только быстрые разрывы, но и свист снарядов. Издали из окон вагона стали различать маленькую, долго искусственно скрывавшуюся от германцев станцию; она представляла из себя развалины; очевидно, неприятельская артиллерия покончила со станцией, так как снаряды рвались в лесу за станцией. Вдруг поезд наш, после нескольких толчков, стал как раз у станции; случилась какая-то неисправность. Пять или десять минут нашей стоянки под свистящими снарядами показались мне целой вечностью /этот гнусный звук я слышал тогда впервые в жизни и не думал, что через два года я буду им наслаждаться, как предвестником освобождения моего от ига большевиков/. Станция была пуста; ее мертвый вид так не отвечал обычному представлению о железнодорожных стоянках, что она казалась картиной какого-то страшного сна. Вдруг, из-под деревянного блиндажа близ станции показалась чья-то голова, улыбнулась нам, приветливо помахала нам рукой и быстро скрылась при звуке разрыва за станцией. Чириков почему-то лег на полу в коридоре, уверяя меня, что такое положение безопаснее; его большое тело и красиво лицо на полу тоже казались мне каким-то сновидением. Не думал я тогда, что через год наступит страшнее всякого сна действительность, когда так боявшийся погибнуть от немецкой шрапнели Чириков будет лежать в такой же позе в мертвецкой Киевского госпиталя, среди многих других трупов — жертв собственных озверелых соотечественников.

Когда мы расстались с «Замирьем», мы испытали чувство чисто животной радости. В Лунинце, уже поздним вечером, в невероятной толкотне и грязи, мы жадно поужинали и теперь мечтали только о сне, но и это наше ожидание не оправдалось так же, как и ожидание обеда (Л. 331) перед «Замирьем». Только что мы начали раздеваться в одной из комнат местного госпиталя, как кто-то быстро бежавший постучал в наше окно и на ходу крикнул: «гасить огни, цеппелин». В глубокой темноте, в незнако-

мой комнате мы совершенно не могли ориентироваться. Весь госпиталь, да и все окрестности его, включая только что горевшую огнями станцию, погрузились вдруг в глубокий мрак. К нам в комнату пришел доктор и почему-то шепотом, как будто враг мог нас услышать, рассказывал нам, как на днях прилетал «Цеппелин»; на пассажирской станции успели погасить огни, а на товарной замешкались и она была обращена в груды мусора. Доктор долго занимал нас повествованиями на злободневную тему: какого невероятного веса взрывчатые массы, выбрасываемые «цеппелинами», что прилетают он только темными ночами, аэропланы же бомбардируют станцию почти каждый день по утрам, а чаще — к 5 ч. вечера, что вреда причиняют они сравнительно мало; доктор советовал нам ложиться на землю, когда заметим над собой аэроплан, так как брошенная с него бомба разрывается веерообразно вверх; впрочем, в последнее время появились новые бомбы, осколки от которых стелятся по земле, почему от них уберечься уже трудно; в госпитале у доктора лежал раненный, у которого осколком аэропланной бомбы вырвало почку во время его сна на вагонной скамейке; осколок пробил полвагона, скамью и вырезал почку у человека так аккуратно, как ложка берет кружочек мороженого из мороженицы. Слушая в этом рое рассказы о том, как люди совершенствуются в искусстве истреблять друг друга и охранять себя от взаимных нападений, мы не заметили, как начала брезжить заря, и заснули в приятном сознании, что «цеппелинская» опасность миновала.

Вся Полесская железнодорожная линия долго в моем воспоминании представлялась мне районом какой-то аэропланной эпидемии: с 5 вечера начиналось противное жужжание летательных аппаратов, которых человечество так жадно, со времен Икара, добивалось с совершенно иными идеалами по сравнению с теми, которым они служили теперь. На ст. Сарны мы застали следу разрушения и смерти: бомба снизившимся аппаратом была брошена в середину только что прибывшего поезда с новобранцами, она искалечила и убила несколько (Л. 332) десятков молодых солдат. Мне казалось, что если бы воинские поезда останавливались на продолжительное, сравнительно время, не у самих станций, к которым пристрелялись неприятельские летчики, а на расстоянии хотя бы ста сажен от них, то жертв было бы гораздо меньше. Я, ссылаясь на тяжелое происшествие в Сарнах, на то деморализующее влияние, которое оказывает на молодых солдат гибель многих людей задолго еще до боев, написал об этом начальнику военных сообщений юго-западного фронта генерал-лейтенанту И.В. Павскому, который, с обычной его любезностью, немедленно ответил мне на мое письмо. Он сожалел о мертвых, но признавал неизбежность их, указывая на невозможность менять график движения и вообще изменить условия остановки поездов. Я не специалист, но продолжаю все-таки думать, что при краткости времени удобного для налетов аэропланов на станцию, вполне возможно было бы добиться воспреещения воинским поездам останавливаться у больших, особо излюбленных неприятельскими летчиками, станций от пяти, например, до семи часов вечера.

Когда мы выехали из района аэропланов, по мере нашего продвижения на восток от Сарны, нами снова завладела чисто животная радость жизни.

Я думал о тех, которые оставались там, в Сарнах и на западе от них, сожалел о них и на пассажиров всякого встречного поезда смотрел как на несчастнейших людей, обреченных, если не на смерть, то на мучительные переживания постоянного ее ожидания.

В Киеве, во сне, меня много дней преследовал свист летящего снаряда и шум пропеллера, подобно тому, как в 1905 г. в моей голове долго звучали крики революционной уличной толпы. Нервы мои, очевидно, не были приспособлены к переживанию даже мимолетных боевых впечатлений.

В следующую мою поездку я побывал на передовых позициях фронта; узнал военную жизнь армии в самом ее настоящем виде. Это были дни накануне знаменитого «Брусиловского» прорыва, когда возобновились успехи наших армий, брались сотни тысяч пленных, снарядов было изобилие и мы надеялись на скорое возвращение нам Львова. Я осматривал наши учреждения в Луцком районе близ станции Олыка, откуда началось наше стремительное наступление по всему фронту.

Целью моей поездки было — осмотреть работу на месте одного из наших передовых отрядов и ближайших к передовым позициям эвакуационных лазаретов. По мысли Иваницкого, на нашем фронте, кроме обычного типа перевязочно-питательных отрядов, имевших целью оказывать первую помощь раненым на боевом театре и эвакуировать их в лазареты, были сформированы, так называемые, «летучие» передовые хирургические отряды; «летучими», в сущности, были все передовые отряды, но обыкновенные прикреплялись к определенным корпусам, за которыми всюду уже и следовали обычно, а хирургические направлялись в том или иной район в зависимости от хода боев, так сказать, усиливая нормальный состав санитарных учреждений. Хирургические передовые отряды имели конный транспорт, но один из них, как раз расположенный в районе Олыки, передвигался в вагонах. В этом районе я имел возможность ознакомиться с всей системой наших армейских учреждений, начиная с обычного перевязочного типа и специального хирургического передового отряда и кончая подвижными лазаретами, а также полевыми госпиталями в Ровно. Получить личные впечатления на месте работ всех этих учреждений для меня, как составителя или редактора наших отчетов за войну, было, конечно, весьма важно в деловом отношении, с обывательской же точки зрения представлялось любопытно побывать хотя бы один раз, за долгое время моего проживания на фронте, там, где была подлинная война.

Отправился я в Ровно и далее совместно с другим нашим помощником заведующего Медицинской Частью доктором В.Ю. Андресом. Это был, за его необыкновенную доброту и свойственный немцам доброго старого времени чистый идеализм, общий любимец всех крастнокрестных работников, как в центре, так и в армиях. От Ровно к позициям мы ехали на передке чрезвычайно разбитого грузовика-автомобиля; трясло нас неистово. Вскоре появились «колбасы» — наши воздушные наблюдатели за неприятелем; различные обозы как-то боязливо прятались от аэропланов в искусственно устроенных насаждениях там, где не было леса; по дороге встречались иногда носилки с ранеными при разрыве аэропланых бомб;

при всякой остановке говорили только о том, где и что наделал неприятельский аэроплан; над (Л. 334) одной ротой, стоявшей в строю у опушки леса, появился летчик; когда он стал снижаться, большинство успело разбежаться, но несколько человек замешкалось и осталось на месте изуродованные, мертвые или убитые. Гул канонады с каждым часом нашего пути усиливался. Чувствовалось, что мы в местах смерти и мною овладевало обычное для меня отвращение перед убийством. В тылу, пожалуй, даже хуже было, чем впереди, потому, что здесь люди погибали без борьбы, от руки слышных, но не видимых врагов. В хирургическом отряде мне показали солдата, получившего осколками шрапнели до тридцати ран; он пролежал несколько месяцев и уже поправлялся. Доктор весело мне сказал про него: «через два месяца будет пахать»; солдат жизнерадостно улыбнулся. В одном из лазаретов я увидел бледного, с потусторонним взглядом красивого парня, вероятно, еще недавно сильного и веселого; над ним сидела сестра милосердия и веткой сгоняла с его лица мух. Я уже знал, что означает эта печальная картина с веткой — я раньше уже много видел в госпиталях тех, кому последние часы жизни облегчались этим «опахалом». Поэтому, еще не доходя до кровати умирающего, я знал, что он умирает. Шепотом спросил сестру какая рана; оказалось — очень легкая, пустая, сквозная в ногу, но пришлось далеко идти до первой перевязки, потерял слишком много крови. Здесь воочию становилось ясно значение возможно большого числа передовых отрядов: один, после тридцати ранений, будет скоро пахать; другой гибнет, в течение суток, после легкой раны.

Когда мы подъезжали уже на лошадях к деревне, в которой квартировал наш передовой отряд, возница, обернувшись к нам, и показывая кнутом на мост, в виде гати через речку и болото, сказал: «там помчимся, это место обстреливается пушками; австриец все хочет разрушить мост, да только пока не попадает; бомбы падают в болото, не разрываясь». Действительно, мы заметили затонувшие в иле снаряды, но ехать было все-таки жутко от сознания, что проезжаем по мосту, привлекающему внимание врага. Далее пришлось так же быстро промчатся через перелесок, находившийся под пулеметным и оружейным огнем неприятеля. Отряд наш помещался в части деревни в какой-то котловине, куда неприятельский огонь не достигал; вторая же половина деревни была разрушена, и странно (Л. 335) как-то было видеть обычную жизнь: собак, кур, кошек и спокойных людей, в первой части поселения и мертвую тишину во второй. Впоследствии, во время бомбард роки Киева всевозможными войсками: петлюровцами, большевиками, добровольцами, я всегда вспоминал о деревне близ Олыки; на фронте настоящей войны было нечто радужное, что давало возможность дать себе передышку, в гражданской же войне была какая-то озверелая беспорядочная стрельба во всех направлениях. Тогда только я понял, что в мире есть нечто еще отвратительнее, чем обычная война.

Боев не было, происходили только ежедневные перестрелки, почему передовой отряд бездействовал; он высылал только на всякий случай дежурную двуколку к окопам, которая вывозила оттуда случайных раненных, больных или убитых, большей частью, по собственной неосторожности,

так как достаточно было высунуть голову из окопа, чтобы стоявшие против нас тирольские стрелки убивали любопытного или просто неосторожного солдата. Говорили, что на днях, на фронте ожидается что-то крупное, но подробностей никто ничего не знал.

На другой день рано утром мы отправились на ближайшую замаскированную батарею, а оттуда в окопы. Снова особенно быстро проезжали отдельные участки дороги, открытые неприятелю. Офицеры радовались посторонним людям из другого мира, в котором жилось так спокойно и удобно; всегда любезно знакомили нас с различными подробностями военного дела, были словоохотливы, как люди давно не бывшие в обществе. Когда мы спускались к окопам, какой-то встречный полковник приветливо помахал нам рукой и на ходу прокричал: «ну и отчаянный этот народ — доктора!», как будто бы нам угрожала большая опасность чем ему, ежедневно совершающему свой путь по окопам. Идти, полусогнувшись, пришлось более часа; ноги расползались на липком глинистом грунте; чтобы не упасть приходилось все время хвататься за грязные стенки окопа, пот с головы моей струился, как будто бы на меня вылили ведро воды. Я с ужасом думал, что здесь ходят по несколько раз в день и живут месяцами такие же русские люди, как я, что это привычная для них обстановка, но лица встречавшихся с ними солдат и офицеров были хотя и не веселы, но так сравнительно бодры и походка их была так уверена, что, очевидно, сила привычки побеждала все. К концу стены окопов повышались, можно было вытянуться во весь рост, начали попадаться комнаты-землянки, со скромной походной обстановкой. Дежурный офицер провел нас по всем «казармам», в них было мрачно до уныния, но чисто; в конце концов он вывел нас на «передовой секрет»; отсюда в нескольких десятках шагов от нас были австрийские стрелки. Я подошел к маленькой дырочке в деревянной стене «секрета» и увидел стан врага совсем близко, почти рядом с собою. Вдруг почувствовал сильный толчок в спину и отлетел от перегородки; это меня отбросил дежурный офицер от любопытного места. «Что вы делаете?», испуганно прошептал он, «простоять здесь больше секунды — это равносильно смерти; вчера так погиб на моих глазах наш солдат, тирольцы имеют удивительный глаз». Затем нам были показаны ручные гранаты. Узнав, что я никогда не видел их действия, офицер начал бросать их в неприятельские окопы; они разрывались за проволокой, то на нейтральной полосе, то уже у неприятеля. Я думал, что таким путем мы вызовем ответ у неприятеля, но офицер, как бы угадывая мои трусливые мысли, поспешил успокоить нас, что австрийцы сейчас обедают и во время обеда ни за что не станут отвечать нам. Трудность метания бомб заключается в умении бросить бомбу немедленно после того, как зажжен фитиль; малейшая заминка, и бомба калечит или убивает бросающего и его соседей; наши солдаты, при грубости их рук, довольно часто и долго делали неудачные броски. Вдруг, перед нами, вместо небольшого разрыва ручной бомбы, послышался сильный взрыв, за ним другой, третий и началась какая-то канонада. Оказалось, что это наша артиллерия делает прицел к неприятельским позициям. В одну минуту, после криков по телефону, снаряды стали ложиться не близ нас, а

на линии неприятельских окопов; прицел был исправлен. Стало ясным для всех, что мы готовимся к наступлению. Сопровождавший нас артиллерист сказал мне на ухо: «если наступление в ближайшие дни, то все с кем вы разговаривали здесь, больше никогда не встретятся на Вашем жизненном пути; они первыми должны будут выйти из окопов». Дежурный офицер и его товарищи стали сразу какими-то иными в моих глазах; мне было стыдно, что я уеду отсюда, а они останутся, и ложно стыдно того, что, может быть, они угадывают мои мысли. Между тем, все они держались совершенно просто, показывали какие-то запонки и другие вещицы, сделанные солдатами из осколков снарядов, что-то подарили нам на память. Надо было прощаться. Поцеловаться, как следовало бы по-христиански перед смертью ближних, значило бы, показать явно, что знаешь о их неизбежной гибели; поэтому прощанье наше было какое-то натянутое, поспешное; мы не сделали чего-то, что следовало бы сделать, но что это — я и сам не знаю.

И пока в мире будут войны, такие переживания и настроения, вероятно, будут неизбежны.

Когда, после долгого утомительного пути под лучами солнца, мы приближались к концу окопов, над нашими головами раздался шипящий свист. Перед этим мы встретили снова полковника, называвшего нас «отчаянными», он снова дал нам этот эпитет и на минут пять остановился поболтать с нами. Эти пять минут спасли нас от случайной гибели: артиллерийский офицер вел нас на наблюдательный пункт, у которого именно и разорвался первый австрийский снаряд, в шагах двадцати от места, где нас задержал добродушный полковник. Неприятельская артиллерия, как бы обозлившись, начала отвечать на пристрел наших. Над головами нашими раздавался уже почти непрерывный свист, но разрывы были, кроме первого, далеко перед нами. Офицер посоветовал нам сесть на землю, прижавшись плотно к стволам сосен, лицом к неприятельским батареям. Через минуты три у сосны доктора А. стояло какое-то облако дыма: это он так усиленно курил одну папиросу за другой, по своей привычке, больше пыхтя, чем куря. Я не выдержал приближавшихся к нам, со зловещим завыванием снарядов, и крикнул офицеру, что хочу перебежать обратно в окопы. Открытая площадка перед окопами называлась почему-то особенно страшной, и я, получив одобрение офицера, действительно, бегом направился к окопам; стоявший ранее бодро у выхода из окопов солдат с ружьем, тоже припустил вслед за мной; на этом маленьком эпизоде я мог лично убедиться, как легко создается паника. Офицер и доктор присоединились ко мне, и мы минут пять сидели в начале окопов, где несколько не было безопаснее, чем на опушке леса, под соснами. Вдруг совершенно неожиданно (Л. 338) для нас — штатских людей — офицер уверенным тоном сказал: «ну, конечно; теперь можем идти». Снаряды свистели над нашими головами по-прежнему, и мы с недоумением смотрели на офицера, но он бодро зашагал вперед, объяснив, что по разрыву снарядов видно, что огонь переведен на другой участок. Мы пошли вдоль очень глубокой канавы; противное змеиное шипение над нами затихало. Офицер дал нам совет: если послышится снова вблизи полет снарядов — прыгать в канаву; тотчас же раздался

сильный свист, и я, по совету офицера, немедленно свалился на дно канавы. Сверху я услышал веселый смех и вопрос: «чего вы, ведь это уже наша батарея отвечает». Различать по полету свои и чужие снаряды я научился лишь гораздо позже, во время гражданской войны.

С чувством большой, как всегда, чисто животной радости, я уезжал из района пушек и пулеметов, затем аэропланов, приближаясь к местам, где тогда не было еще орудий смерти.

Через несколько дней я читал официальные сводки о нашем знаменитом прорыве и мысленно перебирал в памяти черты лиц наших случайных окопных знакомых, жил с ними, строил догадки живы они или нет.

Прорыв поднял общее настроение, стали верить в возможность почетного исхода для России великой войны, «несмотря на внутреннюю политику и неудачное правительство», состав которого, действительно стал меняться, как в калейдоскопе. Но были и на фоне нового подъема настроения темные пятна, которые возбуждали сомнения. Я старался не говорить о них много, но в душе переживал их довольно мучительно.

В одну из моих поездок в Полтаву — удивительно уютный, стильный его тихими усадьбами, городок Малороссии, я столкнулся не на бумаге, а реально с положением беженцев. Скученные в зданиях летнего городского театра и сада мужчины, женщины и масса детей, несмотря на всю возможную помощь им, производили самое жалкое впечатление — это был какой-то бродячий цыганский табор, а не люди, еще недавно жившие нормальной трудовой жизнью. Хотя большинство их вполне сознательно, гораздо, например, сознательнее, чем многие из той среды, которая теперь за границей находится в однородном положении, относилось к причинам их несчастья, однако чувствовались (Л. 339) уже и здесь какое-то озлобление и усталость от затяжной войны. Но самое страшное, значение чего было во всей его громадности понято только позже, это были отпускные из армии солдаты. Ни для одной из воюющих стран, кроме разве временно лишившихся своих территорий Бельгии и Сербии, не была так безмерно тяжела война, как для России. Громадные наши пространства лишали возможности давать солдатам те отпуска, которыми пользовались наши западные союзники. Там, проехав 50, 100 верст от передовых линий, многие находились уже у себя в родной обстановке, у нас надо было для этого сделать сотни, тысячи верст. Пассажирские поезда были обычно перегружены сверх нормы, долго простаивали на станциях, уступая путь воинским, при пересадках нельзя было наверняка рассчитывать на первый отходящий поезд, иногда приходилось просиживать на вокзале, в ожидании свободного места в вагонах, по несколько дней. Во время моих поездок я встречался с солдатами, жившими свыше двух лет мечтой о свидании со своими семьями и возвращавшимися в армии среди пути, за истечением срока отпуска. Кто попадался с просроченным отпускным билетом, рассматривался, по крайней мере до разбора дела, как дезертир; под арестом в Киеве, например, содержались, на этом основании, солдаты, имевшие не один знак отличия за храбрость.

При этом лучшее что было на фронте гибло, а в тылу скоплялись массы запасных и необученных новобранцев. Мой дядя, отставной полковник-

кавалерист, И.М. Романов, добровольно пошел на войну в пехоту и получил в свое командование один из славных сибирских стрелковых полков. Когда эшелон полка проходил через станцию Люблин, мы с ним попрощались, а через два дня его уже не было в живых: в первом же бою он получил тяжелое ранение в живот. К этому времени состав офицеров в полку переменялся с начала войны в пятый раз. Приблизительно то же самое наблюдалось и в других частях, и шедшие на смену были хуже тех, кого они заменяли.

Было ясно, что только особенно большие успехи на фронте, которые дали бы веру в то, что конец войны и наша победа не за горами, отодвинули бы на задний план, смягчили бы частичные недостатки в постановке дела, укрепили бы нервы людей, страдавших от этих (Л. 340) недостатков и уничтожили бы деморализующее влияние тыловых вооруженных и пулувооруженных масс.

Но, к несчастью, «Брусиловская» удача на юго-западном фронте была нашей лебединой песней. Вскоре настали времена, когда то, что вело к несомненной победе благодаря бездарности и нерешительности новых правителей России, заняло второстепенное место, и часть уцелевшего еще настоящего нашего офицерства была признана враждебной народу «нетрудовой буржуазией», а все то, что могла вредить этой победе, выдвинуто на первый план посредством объявления наших армий «самыми свободными в мире».

Поэтому Брусиловским прорывом и последовавшим за ним периодом подготовки к окончательной несомненной победе, к сожалению, несколько затяжным, но блестящим по достигнутым в развитии нашей боевой мощи результатам, закончилась и нормальная военная работа Красного Креста; ему предстояла еще весьма долгая и тяжелая работа на фронте, но это была уже работа в совершенно иных условиях, не победоносной войны, а милосердия к несчастным безумцам, рушившим свой собственный фронт и потом истреблявшим друг друга разными партийно-национальными и интернациональными знаменами.

Отчет о работе краснокрестных учреждений на юго-западном за время войны был подробно и обстоятельно составлен чиновником Министерства Земледелия В.Н. Хрустальевым, но отпечатана только первая его часть, а вторая осталась в рукописи, и судьба ее пока неизвестна.

Несомненно, помощь общества Красного Креста, в виду богатых его материальных запасов, живой инициативы и умения привлечь и сплотить в деле работ о раненных и больных воинах частные силы и средства, имела существеннейшее значение для правильно и полной постановки санитарного дела во время великой войны. Несомненно также, что в эту войну означенное дело, равно, как и вообще снабжение наших армий, если не считать отдельных заминок, вызванных небывалым масштабом войны, и некоторых частичных недостатков, стояло на большой высоте. Однако, несмотря на прекрасную в общем постановку соответственных частей военного управления и безусловную в общем честность их руководителей, им не под силу было бы справиться с разнообразием и широтой выпав-

ших на них тягчайших задач без общественной помощи, в частности без Красного Креста в области санитарии. Быстрое подавление начинавшихся эпидемий, срочная, во время, питательная помощь эвакуируемым и организация вполне достаточно для размеров боев числа коек в общественных и частных лазаретах — всему этому в большой степени наши армии обязаны общественной инициативе и работе.

Между тем, в течение войны, а в особенности при разрушении нашего фронта, не умолкали голоса о вреде «штатской» работы на фронте; голоса эти, как я буду говорить ниже, особенно усилились, как это ни странно, тогда, когда власть опала в руки Временного Правительства, со стороны именно агентов этого правительства.

Забывалось при этом самое существенное, что вся та масса энергичных и опытных деятелей, которая добровольно работала на войну, получила возможность этой работы именно при посредстве общественных организаций. Говоря, например, лично о себе, могу заметить, что было бы странно, если бы я бросил свою основную службу по отделу земельных учреждений и выхлопотал себе назначение на должность начальника канцелярии или какого-нибудь делопроизводителя в Санитарном Управлении фронта. Меня, попросту, как никогда не служившего по этому ведомству, могли не принять на службу. И таким, как я, при нашем посредстве, было отдано нуждам войны сотни, в лице опытных чиновников, живых, энергичных и честных адвокатов и т. д. Наконец, наш высший руководитель на фронте, такой опытный администратор, как Иваницкий — как он мог приложить свой опыт и знания к военной работе на фронте вне краснокрестной работы?

Лично мне известный пример инженеров-гидротехников того ведомства, в котором я служил до войны, особенно показателем в рассматриваемом мною отношении. Наши специалисты, будучи разбросанно призваны на войну и, вероятно, работая не по специальности, не дали бы того максимума специальной пользы, которого от них могла ожидать война, если бы они не объединились во время и, путем частичной милитаризации Отдела Земельных Улучшений, не составили сильной и сплоченной организации по гидротехническому обслуживанию нужд войны, причем организация эта пополнялась не только военнообязанными, но и массой добровольцев-специалистов.

В отношении специально санитарного дела много нехорошего говорилось, с одной стороны, о бестолковости его Верховного руководителя — Принца Александра Петровича Ольденбургского, а с другой стороны — о вредной в политическом отношении и бесхозяйственной деятельности Союзов, земств и городов.

Я непосредственно знаком с работой принца Ольденбургского не был представителем которого на нашем фронте был Иваницкий. Знал, как все о взбалмошном характере принца, о чем рассказывалось всего много анекдотов. Но, в общем, решительно все, кто сталкивались с ним непосредственно, самым характерным считали в этом старике его горячую преданность делу, в которое он вкладывал всю свою душу, свой живой темпе-

рамент и большие денежные средства. Некоторые из его распоряжений казались мелочными, вызывали вначале улыбку, в а общем впоследствии давали очень хорошие результаты. Помню, например, как мы посмеивались, получив срочный строжайший приказ предложить всем нашим лечебным заведениям обзавестись, при первой возможности, огородами и свиньями. Тогда еще не было никаких затруднений с продовольствием и приказ казался чуть ли не чудачеством, а потом краснокрестные огороды и свиноводство играли серьезную роль в нашем хозяйстве, и рыночная стоимость свиней в некоторых госпиталях превышала стоимость всего их первоначального оборудования. Громадную инициативу и энергию проявил, между прочим, принц в деле снабжения войск противогазовыми масками.

Что касается Союзов, то, действительно, трудно было понять, чем было вызвано появление их санитарно-лечебных учреждений на фронте. Им, по соглашению Российского Общества Красного Креста с Главными Комитетами Союзов, отводился в отношении помощи раненым и больным тыловой район. Военное ведомство допустило их в районы армий и этим деятельность частных и общественных учреждений, приданных армиям, расплылась в смысле руководства и принципов работы. Во главе Земского комитета юго-западного фронта стоял мой старый сослуживец С.П. Шликевич; это устраняло возможность столкновений, но в подробностях все-таки, в особенности в отношении оплаты труда однородных служащих, согласованности действий не было. Как в Земском, так и в Городском Союзах, наблюдался (Л. 343) большой недостаток хорошего, технического, опытного, административно-канцелярского аппарата. Поэтому работа Союзов носила какой-то в общем беспорядочный характер, что и давало часто повод говорить, мне кажется, несколько преувеличенно, о бесхозяйственности Союзов. Отрицательной стороной их являлась еще склонность к рекламе. Вывесок Земского Союза в пределах фронта было прямо несчетное число, включая самые мелкие учреждения в роде парикмахерских и т. п., а главное, на таких учреждениях, которые давно бездействовали. Эти вывески над бывшими учреждениями, конечно, многих смущали и раздражали. Думаю, что умысла, может быть, в таких случаях и не было, но отсутствие порядка этим подтверждалось ярко. Наконец, Союзы дали такой отрицательный тип суесящихся агентов, как «земгусар»; изобилие среди «земгусарской» молодежи евреев не могло тоже не возбуждать подозрений, так как в политическую благодарность этой молодежи не верилось. У меня лично никогда сомнения не было, я говорю, конечно, о юго-западном фронте, что руководители в Союзах, которых я лично знал, были исполнены самых лучших патриотических побуждений — сделать все возможное для войны, но повторяю, приемы их работы были таковы, что не могли в известных кругах не возбудить подозрений. В Красном Кресте опытный «старорежимный» чиновник удачно и непосредственно сочетался с местным обществом и частной благотворительностью, в Союзах же, почти сразу начавших работать за счет казенных средств, преобладал на верхах элемент говорливой нашей оппозиции и слабо был, сравнительно, представлен элемент настойчивого и дисциплинированного труда.

Не говоря о роли союзов на войне, нельзя забывать, что, помимо сравнительно скромной и, по моему мнению, излишней санитарной работы их /я говорю о театре военных действий, а не о тыле/, ими выполнялись большие, чрезвычайно нужные военному ведомству, вспомогательные хозяйственные операции, как то: по кормлению окопных рабочих, медико-санитарному снабжению, сбору и обработки кож и т. п. В этих областях опыт некоторых земских деятелей и отсутствие формализма были чрезвычайно ценны и плодотворны.

Кроме того, к союзам во все силе надо отнести то, что я говорил выше о Красном Кресте: они были тем органом, который обеспечивал массу русских людей, не зачисляясь на государственную службу, применить свой опыт и знания работе на нужды войны.

Деятельность Союзов разрушилась сильнее и ранее, чем краснокрестная, и взята была под большее подозрение чем наша со стороны «трудового» класса населения, когда началось общее разрушение фронтов.

К описанию этого последнего периода моей жизни и работы на родине я и перехожу.